

ПИСАТЕЛЬСКИЕ СОЮЗЫ ТОНКОГО МИРА

Кузне. Главному в моей жизни городу – в дни его славного 400-летия

1

Московский февраль был сверх меры тёплым и явно прибавил жары в купе уходящего в Новороссийск поезда. Но на побережье, когда добрались, наконец, до санатория в посёлке Дивноморск под Геленджиком, свирепствовал холодный штормовой ветрюган. Немудрено, что мы с женой дружно простудились. Простудились, что редко с нами бывает, всерьёз и надолго.

Она ещё трепыхалась: пробовала принимать эти нищенские бесплатные процедуры, которые в зимний сезон оставляют для приезжающего по путёвкам соцзащиты доживающего свой век совка-старичья.

А я сказал своё привычное: «Не судьба!»

И под законный вой знакомого ещё с детских, романтических лет иностранца по фамилии Норд-ост принялся чуть не сутками отсыпаться. Не только за все прошлые бессонные ночи, но как бы ещё и впрок.

Тут-то и увидел этот вещий сон. Рядком стояли давным-давно переехавший из Сибири в Калининград и похороненный там Олег Павловский (дружеская кличка – Волнушечка, есть такой удививший когда-то южанина Олега сибирский гриб) и здравствующий, в чём я тогда нисколько не со-

мневался, Володя Мазаев – по-прежнему кемеровский житель. Старинный дружок Мазай.

Как бы на заднем плане, за спиной у них, промелькнул ещё кто-то из старой писательской братии: то ли Буравлёв Женя, а то ли Саша Волошин. Никитич наш – знаменитый страдалец Земли Кузнецкой. Но этот третий только искоса глянул на меня и, уходя, отвернулся.

Олег же с Володей смотрели пристально, смотрели долго, и во взгляде у каждого явно читалось не только дружеское расположение, но и некое загадочное внимание, ну прямо-таки вопрошающее братское любопытство.

Как в лучшие наши сибирские времена...

Утром я принялся втолковывать жене: «Приснились Волнушечка и Мазай. Почему-то вместе, представляешь?.. Надо бы в Кемерово Мазаевым позвонить: как там Олодя, да. А с Волнушечкой... Ты не помнишь? Не может быть, чтобы я тебе не рассказывал!.. Как он приезжал из Калининграда, когда я в «Советском писателе» работал».

Она проворчала что-то такое насмешливо-горькое: мол, если буду помнить всех, кто тогда к тебе приезжал!

– Он земляк твой! – укорил её. – Кто в Майкопе гидростанцию строил? Волнушка!.. И кто со мной стоял потом под окнами роддома в Старокузнецке?.. Когда у нас Жора появился.

– Предположим, вы не стояли, – завела своё стародавнее эта сторонница строгих фактов. –

Вся толпа, что ты с собой под окно привёл, то и дело падала и друг друга потом из сугроба вытаскивала...

– Зима была, мать, – резонно отвечал ей. – Студёный январь!

Но то, как Олег приезжал из Калининграда в Москву, забываемо...

Не предупредил, ничего такого. В двенадцать, раньше я на службу не приходил, появился в приёмной, и кто-то из девочек, из молодых секретарш, тихонько объявил, плотно прикрыв за собою дверь: «Какой-то Павловский рвётся. Слава богу, не тот, что у всех в печёнках. Какой-то новый. «Доложите, – сказал, – Олег Порфирьевич».

Конечно, я выскочил в приёмную, сграбастал его, потащил в кабинет. И первым делом почти потребовал: «Выкладывай рукопись!»

Он попросил: «Можно, я пока отдышусь? А рукопись потом...»

Тут же навалились срочные дела. Один за другим, как «штрафники в атаку», это он, Олег, потом так определил, пошли беспощадно-суровые авторы. И «новый Павловский» тихонько сидел в сторонке, помалкивал и только иногда ладошкой мне семафорил: «Продолжай давай, всё в порядке, мне даже интересно».

Будто нарочно наблюдал, как приходится «вертеться» заведующему редакцией «русской советской прозы». Не совсем, конечно же, русской. Не совсем советской. А то и совсем – нет. В обоих случаях.

Потом я снова, наконец, спохватился: «Где рукопись, Олег?!» И попросил вошедшую секретаршу: «Возьми у автора, Тома! Зарегистрируешь и тут же мне вернёшь».

Тома, привычно протягивая руку, подступила к Олегу, но он опять сказал чуть ли не смущённо: да, мол, успеется!..

Ещё через какой-то час вдруг попросил: «Можешь мне мало-мал времени уделить?.. Кой-куда вместе съездить?»

Пришлось опять обращаться к секретаршам. К младшим, пардон, редакторам: «Прикроете, девочки?.. Скажете, если что: «Срочно в «большой Союз» позвали»... Ещё куда-то... Придумаете?»

И до позднего вечера мы с ним то спрашивали в ближайшей аптеке какое-то дефицитное в ту пору лекарство, то редкую книгу разглядывали у букинистов, то покупали довольно обыкновенную детскую игрушку.

Недалеко от Пушкинской площади пообедали в любимом моём кафе «Охотник», где когда-

то пятилетнему нашему Мите, погибшему потом в семилетнем возрасте, весёлый старик-гардеробщик, подмигнув мне, подал генеральскую шинель...

– Рукопись, наконец! – чуть ли не грозно потребовал я у Олега уже на вокзале.

А он опять будто засмутился:

– Я же тебе серьёзно пообещал: чуть позже. Нет у меня пока рукописи. Ещё не готова.

Как было не взорваться?

– Так за каким же... прости меня, ты в Москву приезжал?

И тут он сказал, ну на такой искренней ноте!

– Не зря всё же воевал. Хоть тут моя инвалидность пригодилась: раз в год – бесплатный проезд. Съезжу в Москву, думаю. Погляжу на Гарьку. Не скурвился?.. Увидал теперь – успокоился.

Эта его откровенность вызвала ответный порыв – я чуть не в голос закричал:

– Да ты что?! Я себе обет дал, старик!.. Прежде всего как раз не скурвиться. На этом хлебном месте в издательстве. Не спиться, во вторых. И не бросить писать... Но чтобы приехали с проверкой?!

– Зато я всё увидал, – сказал он. – И увёл тебя, чтобы часок со мной отдохнул.

Ну многие ли из нас могут нынче похвастать таким бескорытием старого товарищества?

2

Пока мы с женой так бездарно почти три недели проторчали на Черноморском побережье. Пока ещё две, уже в ином месте, в родной моей кубанской станице, слушали гул другого ветра, черкесы называют его темир-казак. Жестокий северный... В Кемерове набирали очередной номер альманаха «Огни Кузбасса», в котором к празднику Победы должен был выйти и мой большой очерк «Сталинский гламур, или «Красотки кабаре» у марتنенов 42-го года». О певице Московской оперетты, эвакуированной в годы войны в Новокузнецк. Тогдашний Сталинск.

Вечером актриса играла, как говорили встарь, «на театре». А днём исполняла другую роль. Второй подручной сталевара стояла в мартеновском цехе выпускавшего танковую броню Кузнецкого комбината, и первая подручная, сибирская её новая подружка-наставница, учила её солёным словцом и солёным же словцом потом пристыжала. Когда падавшая от голода

московская певичка сдавала свою полученную на комбинате зарплату в Фонд обороны...

В нашем литературном деле, когда исполняешь его по совести, есть счастливая, но очень горькая, по нашим временам, закономерность.

Мы нескончаемо правим свои тексты.

А они неумолимо правят и правят нас.

В начале ведь «было Слово, и Слово было у Бога...».

Со всеми вытекающими отсюда, как говорится, последствиями.

Очерк был написан давно, но накануне я снова над ним поразмышлял и хорошенечко поработал. Скорее всего, по этой причине, уезжая «отдохнуть да подлечиться», я был душевно распахнут, как это было в войну с нашими старшими, и постоянно открыт для всякой почти неслышной вести.

Может быть, потому-то и смог выловить их в непрестанном потоке снов – Олега Павловского с Володей Мазаевым?..

Удержат в ночной зыбкой памяти подольше обычного.

И не «заспать» потом этот сон. Надолго запомнить. Помню и сейчас, когда в очередной раз правлю текст, – вот в чём загадка.

Помню!

Или дело не во мне?

В них.

3

Вернуться к работе над «Сталинским гламуром...» меня, кроме прочего, заставило ещё одно немаловажное обстоятельство. Накануне в своём беспорядочном архиве обнаружил вдруг папку с фотографиями «стальной» актрисы – Елены Филипповны Малуковой.

Как мне хотелось, чтобы читающий, какой ещё остался у нас на Руси, народ увидел её и опереточной гордой красавицей, и чёрной замарашкой с тёмными сталеварскими очками на лбу!..

В вёрстке, присланной из Кемерово уже в Москву, фотографий почему-то не оказалось, я запереживал.

Начались телефонные переговоры с главным редактором Серёжей Донбаем, и тут-то я почти походя спросил его:

– Да!.. А как там наш Олодя Мазай?

Он удивился:

– До сих пор не знаешь?!. Пытался дозвониться тебе на юг, но ты постоянно был недоступен. Володя умер!.. Недавно уже сороковины отметили. Не сомневался, ты в курсе!

Ну не совестно ли всё это объяснять безутешной Светлане, жене Мазаева?

Что на юге собирался оставить московский номер мобильного, но всё испортила девица, которая в Дивноморске, в магазинной выгородке, разбиралась с сим-картами и одновременно брала плату за телефон, пила кофе, разговаривала с ухажёрами, слушала музыку, отвечала на звонки и зачем-то ковырялась в моей до того безотказной финской «Нокии».

– Вы что? – спрашивала. – Специально привезли её сюда починить?!

И неделю вдвоём с жестокой простудой ходили мы к ней, как на работу. Терпеливо дожидались, пока она одну за другой поправит очередную свою оплошность...

«За москвичами в провинции и без того хуже, – печально думал, – укрепилась худая слава. Не будешь же ты, кубанец, давно считающий себя сибиряком, эту худую славу поддерживать?.. Потерпи!.. Разве это самое страшное из всего, что мы нынче терпим?!»

– Когда это случилось, Света? – спросил по междугородке уже из московской нашей квартиры.

– Двадцать третьего февраля, – сказала она, – в мужской день. Посреди комнаты упал, я бросилась к нему. Он только сказал: «Кажется, умираю». И всё.

Двадцать третьего февраля мы как раз в Дивноморск и приехали.

– Володя приснился мне. Почему-то вместе с Олегом Павловским, – взялся осторожно Светлане рассказывать. – У них были вроде нормальные отношения?

– Они дружили! – откликнулась она горячо. – Может быть, ты не знаешь, тебя не было в Москве, пропал тогда на Кавказе... Мы дважды ездили в Калининград. К Олегу в гости. Как они нас встречали!.. Несколько раз он там объявление давал. Только потом нам рассказал: об обмене на Кемерово. Хотел сюрприз нам сделать. «Женить» нас. Без нас!.. Раздавал читать Володины книги, они там нравились. Говорит потом: «Тут уже хотят избрать тебя руководителем писательской организации, руководил же ты в Кемерово. А почву я подготовил... Перебирайтесь!» Мы даже стали колебаться: может, и действительно, переехать?.. Но Олег вдруг ушёл... Годы всё-таки.

– И война, война!..

– Он же инвалид был, конечно. Знал его при- сказку? «У меня две лопатки только тогда, когда беру в руки третью – штыковую или совковую...»

– Да, однажды как-то слишком крепко обнял его, он вскрикнул...

– А они там часто говорили о тебе. Олег с Володи- ми. В Калининграде... Всё прибрассывали, кто из друзей может туда к ним переехать.

– Пополняли писательскую организацию?

– Да, прикидывали... Мечта о старых товари- щах. Это и Вова говорил: «Кто не подведёт. Как сибиряки под Москвой». Ну это они – как вы- пьют... Мы уже стали было соглашаться на пе- реезд. А он вдруг ушёл. Олег. А теперь вдруг это – с Володей.

– Что с ним случилось всё-таки?.. Сколько мы вместе исходили, не тебе объяснять! И сколько потом он сам. С геологами. А с охотника- ми?.. Кому, как не ему, быть здорову!

– Сказали, наследственность, – ответила Светлана. – Она ведь нас не спрашивает. Бо- лезнь Альцгеймера. В последний год приведу его в писательскую организацию. На собрание. И как будто первый раз со всеми знакомлю. По- тихоньку шепчу: «Это Борис, Борис Бурмис- тров... А это Сергей, ну как же ты? А это Лёня Гержидович из своей тайги выбрался, ну?» По- смеивается: «Да вижу, старый знакомый. А кто, ты сказала, кто?!»

Может быть, я пытался хоть как-то поднять ей настроение? Участиливо спросил:

– А эта история с Тимуром Гайдаром... Кото- рого Володя, считай, спиннингом выловил... Не повлияла на него?..

– Да нет, пожалуй, – сказала она. – Во всяком случае, внешне это было незаметно. На этот счёт ничего не говорил... Главное, конечно, пло- хая наследственность.

Но кто из нас тогда о ней думал!

5

Так вышло, что полвека назад именно Мазай стал чуть ли не главным наставником обретае- мого тогда мною, кубанцем, сибирячества-чал- донства... То были времена, когда мы не выле- зали, как говорится, из вертолётов да безотказ- ных кукурузников, зимой менявших колёса на лыжи – куда только в них не забирались!

И мы, конечно же, исповедовали пилотский принцип наставничества: «делай, как я». Люби- мой присказкой Володи, после него повторяемой и мной, и другими, стало слегка небрежное: «Всё

будет тип-топ!». Всегда почему-то помнится ска- занное о своей винтокрылой машине героем од- ного из Володиных рассказов: «Посажу её, как ребёнка!».

Может, оттого-то помнится, что и нам ну пря- мо-таки страстно хотелось стать мастерами сво- его дела? Тоже требующего, мы ясно этот зов ощущали, любви к высокому, бездонному небу. И – бесстрашия. И, конечно же, бесконечной ве- ры в неистребимую силу народной жизни и во власть доставшегося нам, как щедрый подарок, окружающего нас в Сибири могучего, почти кос- мического естества. То и другое по легкомыслию молодости мы принимали как обещание почему- то возможного бессмертия.

Или для них оно уже наступило?

Бессмертие.

Для Олега с Володиёв?

6

5 мая 2015 года.

Это один из тех внезапно вырвавшихся из подсознания документальных рассказов, о кото- рых перед тем как начнёшь писать, и думать не думаешь.

Но жизнь вдруг усаживает тебя за него, как непослушного школяра строгий учитель усажива- ет за непременный диктант, и ты опять оставля- ешь недописанным и одно, и другое, и третье...

Ты чуть не кричишь уже: «Господи! Сколько можно?!» Новое начинать. Прежнего не окончив.

В раннюю пору творчества ты почти пани- братски определил плодоносную осень как «вре- мя начал»: сам замысел считал тогда за пода- рок. За присланную тебе «передачу» с небес. Из ноосферы.

И ты тогда почти всё начатое заканчивал.

А теперь?!

В любую пору, ночью и днём, непрестанно идёт этот «сев озимых»: переключка сюжетов. Спор давних заготовок, не желающих на пенсию уходить, с настырными вновь возникшими. Стол- потворение деталей: чуть ли не «вся и ко всему».

Но что из «посеянного» потом взойдёт? Что вызреет?!

А ведь в «Национальной элите», сам писал, ну как будто обет давал: «Отличие настоящего мужа – не дел начинание, а их завершение».

Несколько дней назад помогал Ларисе с её грядками и делал заодно свою работу: обрезал и окапывал яблони, пересаживал вишни, обиха- живал черемшу – сибирскую свою радость.

Погода наконец-то установилась. Перестал лить дождик, проглянуло солнышко. Я спешил, пока оно снова в тучках не спряталось, и поймал вдруг себя на том, что работаю сейчас точно так же, как нынче пишу: на кирпичной дорожке оставил лопату и снова побежал включить воду... Пока из шланга бежит под куст смородины, кинулся на тачке перевезти очередной мешок с «конскими яблоками», специально переданными внучкой Василисой от её подшефной лошади: удобрение самого высокого качества...

«Да! – подумал о себе. – Да. И тут-то ты, «во саду ли, в огороде», на земельке весенней, точно так же, как со своими рукописями. Всё начато, и ничего, считай, не закончено...»

Но заботы на весенней земельке, которые Виктор Петрович Астафьев прямо-таки воспел в своей «Оде русскому огороду», что там ни говори, дело временное. Просто торопливо длится тот самый день, который «год кормит».

А с творчеством?

На то, чтобы, пусть не всё, закончить хотя бы самое главное из того, что когда-то начал, не хватит жизни... Неужели-таки не хватит?!

И представилась мне уже рабочая, пролетарская картина. Западно-Сибирский металлургический комбинат в тысяча девятьсот шестьдесят первом году...

По всему почти необозримому пространству промышленной площадки будущего «гиганта чёрной металлургии» – сплошь разверстые котлованы с жирафьими шеями экскаваторов над ними да кое-где уже – стеклянные скворечники башенных кранов. Плюс одинокие ЗИЛки да редкие МАЗы, тут и там буксующие в непролазной, в непроезжей грязи...

Вот оно – нынешнее состояние многих моих рукописей. Содержимое того, что называют «творческим багажом».

Однажды вдруг, как при мгновенном свете зарницы, ясно увиделось, что всё это, как на большой стройке далёкой молодости, тоже как бы объединено неким общим замыслом, мною даже не только неосознанным – до того момента даже не подозреваемым.

Но кто же потом, уже без меня, его разгадает? Если сам стою пока лишь на пороге разгадки.

А если разгадаю, то что? Сил прибавится?

Я видел артельную работу, которая не то что на плечах да на руках подняла – на неожиданно выросших крыльях вознесла над землёй наш огнедышащий Запсиб...

И я всегда считал это подарком судьбы, как бы даже неким своим преимуществом перед многими другими. Преимуществом, которое мне ещё предстоит оплатить своим творческим трудом. Отработать.

Почему же не торопился?

Когда ветер надувал сибирские мои паруса...

Кто мне только тогда не помогал!

И малознакомые работяги, удивлявшие ювелирной своей работой. И самоотверженные соратники, вместе с которыми выпускал гремящий даже одним своим названием «боевой листок» – многотиражку «Металлургстрой»... Разве наш расслабленный и совершенно «безответственный», по тем-то строгим временам, трёп во время общего перекура не становился потом несгибаемым стержнем в стихах Роба Кесслера, Серёжи Дрофенко, Паши Мелехина, Володи Леоновича? Или в прозе Емельянова Гены, Толи Яброва и, простится мне самонадеянность, в моей?

Бедная наша редакционная машинистка! Валя! Барановская. Жива ли? Здорова ли? Всех нас прости.

Перестала ли вздрагивать от творческого напора «металлургстроевской» братии уже в нерабочее время, когда в посёлок давно ушел последний «трестовский» автобус, а городские к нам тогда и близко не подъезжали...

Мне повезло ещё и потому, что в Новокузнецк (это с Кубани-то!) приехала учиться Танечка, младшая сестрёнка. Разве мама могла отпустить её не иначе, как к брату?..

У нас уже подрастал Георгий, средний сын, и Таня, ставшая его добровольной воспитательницей, подавала ему пример. Я тоже стал для неё «папулька».

Только через много лет, когда её уже не станет, пойму: эти «телячьи нежности» – от недополученного в детстве, сразу после войны, родительского тепла.

Творческие успехи брата, конечно же, восхищали Таню, и вскоре она стала самым первым читателем моих опусов: как никто другой, понимала мой почерк и лихо с него печатала.

Совсем недавно нашёл вдруг в своих бумажных завалах листок с четырьмя Таниными строчками, дотоле мне неизвестными:

*Пусть говорят, что ты порой жесток:
пророчишь ты своим героям беды.
Но знай, папулька: каждый твой листок
пронизан тихой музыкой победы!*

Это был мой третий «сибирский» роман «Тихая музыка победы». По объёму очень большой: как она, блестяще сдававшая экзамены в своём Сибирском металлургическом, успевала его печатать?

И я уронил голову над этим так долго прятвшимся от меня немудрёным Таниным стихотворением...

И то был плач не только по ней, так рано ушедшей сестрёнке, верной моей, самоотверженной помощнице и соратнице.

Заодно плач, как водится, по себе: давно оставшемуся в одиночестве.

Волчий безмолвный вой...

Что с того, что, как многие теперь, отношусь к недавно выведенной породе: «волчара комнатный». Более того: «волчара бумажный».

Было всегда?

Или на этот раз тяжкое одиночество нам связано ещё и целенаправленно?

Как никогда прав сказавший, что в России писателю «надо жить долго».

Нынче ещё и для того, чтобы дожидаться, когда под водопадом событий вдруг хотя бы на миг всплывёт, кружась, образ, которого, как в невинном занятии пазлами, так не хватает для создаваемой тобой общей картины мира...

«Не дьявольской ли картины?» – начинаешь иногда сомневаться.

Или всё же иной. Явленной победителем лукавого змия глобализации: святым Георгием. Послаником высших бесплотных сил.

С непременно, конечно же, реквиемом. В память сражавшихся под хоругвями русского православия.

С тихой музыкою победы.

Но дождёшься ли?

Если всякий сюжет – не только радость, но заодно – душевная пробоина, сердечная рана?

Не исключено, происходит своего рода сладкая самоликвидация...

Завалит в конце концов не доведённую до ума работой. Как чумазого шахтёра в горной выработке породой – после аварии.

Или всё это вместе – лишь напряжённая подготовка к светлой работе духа уже в ином мире? В тонком. Где находятся нынче души старых твоих товарищей...

Ведь смотря же они на меня оттуда, почти постоянно смотрят: Волнушечка Павловский и Володя Мазай.

Раб божий Олег и раб божий Владимир.

В Москву мы возвратились в начале апреля. Остаток месяца тянулся в невольных заботах о публикации дорогого сердцу очерка о «стальной» актрисе в дорогом и для неё когда-то сибирском краю...

Само собой, продолжалась внутренняя работа, заданная молчаливым любопытством явившихся мне во сне Олега Павловского с перебравшимся к нему, наконец, Володей Мазаевым.

Как говорится, не так, так этак. Не мытьём – катаньем.

Переселением в иной мир.

Зато теперь-то они – рядом!

И Володя вновь руководит писательской организацией... Может, всей нашей, в иной мир отошедшей русской... Да почему нет?

Или она обречена-таки вечно страдать под началом бывших комсомольских чиновников?! С набитой теперь троеперстием шишкой на лбу...

Каторжный труд ежедневного размышления, чем-то похожий на добывание огня трением, дал, в конце концов, результат. Но стал он для меня не только неожиданным – сделался горьким.

– Не можешь припомнить? – попросил вдруг жену. – Когда я тебе, точно, рассказывал, что видел во сне Мазая с Волнушечкой?... Ещё в Геленджике? В Дивногорске?

Она удивилась:

– А где же ещё?

– Может, уже в Отрадной?

Переспросила с невольным сомнением:

– В Отрадной?

– Считаешь, не могло быть?..

– А почему ты вдруг спросил? – пыталась она пойти туда, сама не знала, куда. – Для тебя это важно?

Сам я к этой минуте был прямо-таки яростно убеждён: мало того, что важно.

Чрезвычайно важно, вот в чём дело.

Необходимо!

В Дивноморске не повезло не только с мобильником.

В здешнем магазине не оказалось клавиатуры для моего ноутбука допотопной модели, и я в очередной раз махнул рукой на всё нано... «на-на тебе, бери и это, рыжий Чубайс!»... технологии.

Или тут иное?

Похожее на невольничий труд бесконечное «добывание огня», уже за привычной клавиату-

рой, уже в Подмоскowie, вдруг вызвало вспышку, заставившую вернуться к Астафьеву: недаром парой страничек выше, «Одой...» своей, Виктор Петрович заранее, как и полагается, сделал на то хитрую такую, вроде мало что значащую для нас, живущих ещё в мире этом, заявочку...

Так вот, в санатории «Голубая даль», что в Дивноморске, я первым делом заглянул в библиотеку и, едва переступив порог, был поражён небывалым в тяжёлый нынешний час открывшимся мне книжным великолепием... У нас ведь на это особое чутьё, у литераторов.

Тихий внутренний свет, исходивший от владелицы неожиданного богатства, библиотекари средних лет, великолепие это лишь подчёркивал. Есть такие люди, есть. Ещё живы...

Об этом, коли даст Бог, в другой раз. В другой.

А пока: на столике рядом со старым кожаным диваном лежал рядок объёмистых томов, являвших, понятное дело, дух и смысл этого уникального, не побоюсь, книжного царства...

Теперь-то убеждён: вовсе не по стечению обстоятельств.

После двух книг о маршале Жукове, «творце Победы», третьей и четвёртой лежали астафьевский роман «Прокляты и убиты» и сборник его повестей «Пастух и пастушка».

Роман – о «серой скотинке», как говаривал старый русский генерал Драгомиров.

О великом нашем измученном народе.

Рассуждаю так уже нынче...

Тогда я просто отдавал некий должок Виктору Петровичу.

Незадолго до поездки на Юг в белорусском журнале «Белая вежа» вышел мой рассказ «Царь-писатель». Об Астафьеве. И о творческом подвижничестве негромкого, втайне взревшего мастера Ивана Подсвинова, кубанского земляка, утвердившего Виктора Петровича в ряду ведущих писателей-казачков.

Но роман «Прокляты и убиты», так получилось, я тогда ещё не прочёл.

Теперь же книжка только и того – мне встречу не бросилась. Осталась лежать. Терпеливо ждать меня на главном столике библиотеки санатория «Голубая даль».

Не знак ли?..

И я, ещё без курортной карты, ещё бесправный чужак, выпросил оба тома Астафьева: для себя и жены.

Не такой простачок этот дядя, чтобы только и того – отсыпаться!..

Когда я принял решение забыть о процедурах, старый солдат Астафьев, у которого вместо потухшего на войне одного его глаза был давно уже в руке «Зрячий посох», вместе с нами надёжно поселился в нашем санаторном жилище...

Отсыпался я в промежутках между горьким и трудным чтением. По духу самым высоким и строгим, какое мне в последнее время встречалось.

Теперь-то я думаю: это был некий бунт двух стихий.

Природной – за окном. И человеческой. Вырвавшейся, наконец, на волю вольную в горькой книге Астафьева.

Спор ли то был?

Или согласный дуэт, подчинявшийся исключительно космосу?

Иначе как через него могли пробиться два якобы тихих провинциальных прозаика – Волнушечка и Мазай?

В «Голубой дали», в моём сне они молчали и только внимательно смотрели на меня. С неким мистическим вопросом.

Внима-а-а-ательно!..

9

Известие о смерти Валентина Распутина застало меня уже по дороге из Дивногогорска в родную Отрадную. В Краснодаре. В доме младшего брата Валерия.

Валера хорошо знал о наших дружеских отношениях с Валентином. Обнял меня, со вздохом спросил:

– Что будешь делать?

Грустно ответил:

– Жить дальше.

– Я не об этом. Как себя чувствуешь?

– Лучше, слава Богу...

– Может, полетишь в Москву?.. Дам деньги на билет. Друг брата – и мой друг...

Я и правда растрогался:

– Спасибо тебе. Только понимаешь...

– А что, что?.. Туда и сразу обратно. Лариса пока побудет у нас.

Пришлось попросить:

– Одолжи-ка сперва твой мобильник. Мой геленджикские умельцы совсем угробили.

Позвонил первым делом поэту Володе Скифу, свояку Валентина. Отношения с ним, считай, братские, дал мне «секретный» номер телефона Вали в больнице, но разговаривал тогда всё-таки больше с ним: лишний раз беспокоить больного не хотелось... знать бы!

Как старые люди говорят в таёжных деревеньках под нашей Кузней... Но что изменилось бы?!

– Понимаю тебя, но давай твой визит отложим ещё на три-четыре денька, – слабым голосом предложил Валентин, когда в последний, выходит, раз ему в Москве позвонил. – Уж больно, говорят, печальное зрелище представляю. Но дело вроде к поправке...

Почти тут же мы уехали в Геленджик, где мне сразу приснились Олег Павловский с Мазаем... Может, с горних своих высот зрили куда дальше моего и обо всём уже ведали заранее?.. И в самом деле: как знать!

Из Краснодара сказал теперь Скифу горькие, какие нашлись, слова соболезнования. Услышал в ответ: «Валентин завещал похоронить его в Иркутске. После панихиды в храме Христа Спасителя гроб с телом Вали доставят туда...»

Прежде чем звонить в Союз писателей, в Москву, набрал другую столицу. Рангом ниже. Но ставшую для меня тоже родной и значимой.

В столицу Адыгеи. В Майкоп.

Два десятка лет назад здесь вышел переведённый мной роман писателя Юнуса Чуюко «Сказание о Железном Волке». Добросердечное, с высокой оценкой, предисловие к нему написал тогда Валентин.

– Я ждал твоего звонка! – горячо заговорил Юнус. – Адрес, адрес скажи... Куда послать телеграмму?

Сообщил ему иркутский адрес Володи Скифа и взялся звонить в Москву...

Нелёгкое это дело. Почти постыдное.

Не то чтобы «отбирать хлеб» у коллег... может, отбирать мёд?

Потому как есть сплочённая команда «подписантов», которых мёдом не корми – поставь его фамилию под некрологом ушедшему в мир иной широко известному человеку.

В доброе застойное время, при проклятом тоталитаризме... Заменённом теперь либеральной *тоталерантностью*. Имели место так называемые писательские обоймы, за постоянное пребывание в которых многие из весьма уважаемых авторов готовы были отдать если не половину царства (откуда оно в эпоху развитого социализма?), то половину гонорара за очередную свою бодягу – наверняка.

Теперь же, когда профессиональной критики как таковой не стало и нету этих самых «обойм», у всякого члена литературного сообщества оста-

лась почти единственная возможность не только напомнить о себе, но как бы даже в очередной раз самоутвердиться: поставить свою фамилию под очередным некрологом.

Когда пишешь о дорогих душе людях, печальное это дело – ёрничать...

Но что есть, то есть. Успела уже в массовом сознании прописаться немалая когорта чиновников, якобы прозаиков да поэтов, какая в определённом смысле в нынешнюю горе-литературу вошла по трупам своих товарищей.

Пробиваться в давно сплочённую стаю, в один с ними строй?!

Прости меня, Господи, недостойного! Прости.

10

Чего только в краснодарской квартире брата Валеры не записал тогда в «общую тетрадь», которую вожу с собой вместо общепринятого блокнота...

И строчки телеграмм в Иркутск и в Москву, которые так и не отправил. И на краткий миг возникающие, тоже как тихие зарницы, отрывки текста, который мне только предстояло написать... Проклятье профессии? Как бы тебе ни было горько, а разум привычно продолжает раскладывать всё по полочкам и подбирать нужные слова...

Несколько лет назад написал рассказ «Газырь о Валентине Распутине», и Валя не только прочитал его, даже деликатно похвалил. Жена его, Светлана, сказала: «Не всё же о нас писать небыллицы...»

Но что теперь-то написать и кому это нынче надо?! Может быть, это просто неосознанный способ хоть как-то усмирить боль?

Чего я только не записал в тетрадку в те дни. Даже пару посвящённых Валентину стихотворений. Одно рифмованное. Белым слогом – другое.

Внутренняя моя смута осложнялась ещё и тем, что незадолго до этого, ещё из Москвы, отправил по электронной почте в Иркутск юбилейное поздравление Владимиру Скифу. Отношения с ним давно установились не только дружеские, считай – братские. Его поэзию принял душой не только я. Так вышло, что присланную им из Иркутска детскую книжку буквально затащали в своих рюкзаки старшие наши внуки. Не только носили в школу в псковской глуши, в Миритиницах, где учились в «совмещённых» группах: по несколько человек из разных классов... В школе, учителя которой чуть не моли-

лись на наших Георгия с Ольгой: четверых учеников отец уже привозит в школу, а в забытой Богом деревеньке Журково подрастают ещё двое... А?! По нашим-то временам!..

Глядишь, и не закроют школу – ещё маленько продержится...

Так вот, с книжкой Володи Скифа внуки не расставались даже тогда, когда бывали в нашем Кобяково под Звенигородом. В гостях у бабушки-бабушки... тоже, по нашим интер-р-нетовским временам, разве не трогательно?

Не со смартфоном ведь приезжали – с книжкой. Да ещё с какою – сибирской!

Конечно же, на всём этом лежал и дорогой душе отсвет наших давних отношений со своим Скифом. С Валентином. Женаты были на родных сёстрах.

И – слава Богу!.. Разве не пример бережения нашего русского родства, так за век стремительных перемен пострадавшего.

Вот оно, поздравление Скифу:

«Многоуважаемый юбиляр! Дорогой Владимир Петрович!

Ещё в стародавние времена своего новокузнецкого соседства с иркутянами с завистью и восхищением следил за успехами литературных ровесников, пытаюсь разгадать причину столь яркого расцвета вашей поэзии, прозы, драматургии. Дружил с иркутянами в пору выхода полузабытой теперь, но тогда объединившей нас всех «Молодой прозы Сибири» и радовался за вас, когда работал потом в Москве, в «Советском писателе». Честью для себя считаю и приглашение Валентином Распутиным на праздник «Сияние России», и доверительный дружеский допуск в незабываемое Ваше писательское «Зазеркалье».

С Байкала в тот год вернулся с тремя выкопанными перочинным ножиком лиственками, ростоком с карандаш, и нынче они, почти десятиметровые, красуются перед нашей избой под Звенигородом.

Хотите верьте, хотите нет, но летними вечерами они вдруг стали нащёптывать мне что-то сокровенное, едва слышимое, и раз за разом то скующим по Сибири сердцем я начал вдруг различать их молоденькие тонкие голоса.

Рассказывали друг дружке о своём удивительном, но мало чтимом пока земляке Иване Тимофеевиче Калашникове, родоначальнике сибирского романа, которого называли когда-то «русским Фенимором Купером». О его загадоч-

ном, не принятом западниками патриотическом романе-предупреждении «Автомат».

Шушукались о том, что Иван Тимофеевич, ещё в детстве писавший пламенные стихи о победившей Наполеона России, достиг не только литературных высот, но благодаря верному служению Отечеству высоко поднялся по административной, начальственной лестнице: стал тайным советником Императорской канцелярии и попечителем народных училищ.

Но в северной столице, в Санкт-Петербурге, он так тосковал по родным местам, что после ухода в мир горний остался тайным советником и державным попечителем не только литературных собратьев, но и духовным покровителем всего обширного российского края за «Каменным поясом».

Всё это, как понимаете, о Вас обо Всех, дорогие мои иркутские собратья, но в этот день, конечно же, прежде всего о нашем Юбиляре, детские книжки которого отнимают друг у дружки мои внуки, а «взрослые» стихи цитируют сыновья.

Прежде всего ему и Вам всем крепкого духа, негибкого характера, богатырского здоровья, а ныне болящим – непременно исцеления телесного.

13

И пусть молодые байкальские лиственки рядом с домом расскажут мне потом о славном иркутском празднике общего нашего талантливого и щедрого душой друга Владимира, ставшего выразителем всеобщего нашего непреходящего русского скифства.

Кубанский казак и приписной чалдон Гарий Немченко».

Владимир отозвался тут же:

«Гарий, добрый вечер!

Ну ты меня просто потряс своим поздравлением!

Да это же не поздравление. Это маленький пронзительный ностальгический рассказ о нашей прошлой жизни. Спасибо огромное!

Завтра ведущий вечера заслуженный артист иркутского Музыкального театра Николай Мальцев будет всё это читать от твоего имени на нашем торжестве.

Дай Бог тебе крепкого здоровья и вдохновения!

Обнимаю крепко.

Привет всем твоим домочадцам!

Владимир Скиф».

Разве не елей на измученную московским одиночеством душу?..

Вот мой ответ: «Спасибо тебе, Володя, я расплакался. Слава Богу, что понимаем ещё друг друга. Хоть иногда! Твое письмо по телефону прочитал Валентину, чтобы маленько поднять дух. Так как лиственнички сейчас без иголок, придётся ждать, пока вновь начнут перешептываться. Потому буду рад, коли сообщишь, «как погуляли». Все мои домочадцы добрым твоим словам очень обрадовались. Ответный поклон близким твоим сибирякам. Обнимаю. Гарий».

Долгонько, признаюсь, размышлял, стоит ли в этом не слишком радостном повествовании давать – хотя бы в сокращённом варианте! – «электронный» рассказ Владимира Петровича о том, как чествовали его земляки. Кому-то вдруг покажется: а не слишком ли?.. Но после грустно-раздумья даже повеселел: а знай наших!..

Сибиряков.

Многих из сверстников, меня в их числе, жестокий век чуть ли не постоянных перемен оторвал от корня и под самым благовидным предлогом: подставить родной стране сыновье плечо, будто перекасти-поле, отправил скитаться по бескрайним тогда русским просторам...

Ненадолго возвращаясь домой в дни отпуска, мы замечали, что рядом с отчим домом живут уже иные соседи, но не придавали этому значения. И «серебряные рельсы», не грех тут вспомнить повесть кузбасского земляка Владимира Чивилихина, первым поддержавшего «начинающего» Валентина Распутина, так вот, «серебряные рельсы» нашей безоглядной молодости в конце концов привели нас в большой и двуликий город. В котором одна половина жителей – благополучные назначенцы. Вторая – подневольные беженцы. Не исключено – по причине излишней своей доверчивости... Но это, подзаимую у сегодняшних записных говорунов, уже другая история.

Благословенны не изменившие родимой земле!

Живущие на ней.

А не те, кто в далёком краю носит её, надрываясь, в собственном сердце... Тяжкое это бремя, ребята! Хоть и счастливое.

И слава Богу, что в Иркутске малая родина не перестала заботиться о своих уже великовозрастных детях – это далеко не везде нынче встретишь. Слава Богу, что дети эти выросли в достойных мужей...

Через два-три денька на электронной своей почте нашёл такое письмо:

«Гарий, добрый вечер!

Сразу не мог тебе ответить, потому что после юбилейного торжества приехали с Евгенией Ивановной домой поздно вечером на своём «Форестере», заваленном цветами и подарками, и, конечно, валились с ног. А 18 февраля мой юбилейный вечер повторился в микрорайоне Университетском, в Гуманитарном центре (это библиотека имени семьи Полевых. Ну ты знаешь – их было трое писателей в семье: старшая сестра Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая, Ксенофонт Полевой и Николай Полевой, который потом в Москве издавал знаменитый журнал «Московский телеграф», где за честь опубликоваться считал сам Александр Сергеевич Пушкин). Так вот, снова была полная аудитория, речи, поздравления и прочее. Но там я читал больше стихов и показал только что вышедшую книгу четверостиший «Где моей скитаться грусти». Завтра утром я улетаю в Москву, а потом в Ханты-Мансийск, мне там дали Международную литературную премию «Югра». Оттуда я еду в Тобольск, а потом обратно в Иркутск.

Ну вот. Теперь о юбилейном вечере. Вёл его наш, оказывается, не заслуженный, как я написал, а уже народный артист России Николай Мальцев. Помогала ему поэтесса Светлана Шегебаева, она ставила на экране видеоряд.

Ну, конечно, телеграмм и электронных посланий было много, и мы отобрали самые значительные, но перечислю всех:

Валентин Распутин,
правительственная телеграмма из Государственной думы России,
народный артист СССР Василий Лановой,
народный артист России Юрий Назаров,
заслуженная артистка России Людмила Мальцева,

актриса Театра на Таганке Полина Нечитайло,
председатель СП России Валерий Ганичев и первый секретарь СП России Геннадий Иванов,
народный артист России Александр Галибин,
известный русский писатель Гарий Немченко,
Станислав Куняев,

Владимир Бондаренко,
выдающаяся русская поэтесса Светлана Сырнева,

председатель Благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов,
поэт и главный редактор альманаха «Тобольск и вся Сибирь» Юрий Перминов,

поэт Игорь Тюленев,
поэт и главный редактор альманаха «День поэзии» Андрей Шацков,
критик Вячеслав Лютый из Воронежа, который писал предисловие к моей книге «Молчаливая воля небес»,
Валерий Михайлов – поэт и главный редактор журнала «Простор» из Астаны,
поэт и главный редактор журнала «Аргамак-Татарстан» Николай Алешков,
главный редактор издательства «Вече» Сергей Дмитриев,
главный редактор журнала «Бийский вестник» Виктор Буланичев,
главный редактор журнала «Волга – XXI век» Елизавета Мартынова,
Владимир Тыцких – поэт и морской офицер из Владивостока,
сахалинский поэт Владимир Губин,
председатель Читинской писательской организации и главный редактор журнала «Слово Забайкалья» Олег Петров,
председатель Амурской писательской организации Константин Воронов, он же Корсак (Благовещенск),
председатель Сахалинской писательской организации и прекрасный поэт Коля Тарасов,
председатель Томской писательской организации Геннадий Скарлыгин,
председатель Камчатской писательской организации Александр Смышляев,
Светлана Вьюгина и Иван Тertyчный (Москва),
семья Георгия Мокеевича Маркова (Москва).
Конечно, зачитали только первую половину телеграмм и писем. Когда Мальцев прочитал твоё послание (а в это время на экране проецировалось твоё изображение), то сидящий рядом со мной Ким Балков схватил меня за руку и воскликнул со слезами на глазах: чудесно написал и поздравил тебя Гарий! Остальные телеграммы озвучили уже в застолье, потому что вечер длился два часа. Театр «Слово» читал мои стихи, исполнялась песня на мои стихи «Памяти павших сибиряков», которую пел вживую заслуженный артист России Николай Нестеров. Помнишь, эта песня звучала в Москве в Фотоцентре на Гоголевском бульваре.
Вечер был яркий, душевный, неожиданный и запоминающийся.
Спасибо тебе за твоё удивительное, такое искреннее и неоценимое СЛОВО!

Всем твоим привет!

Обнимаю.

Вл. СКИФ».

Эта наша переписка со Скифом случилась за месяц до упокоения Валентина, и на ней, конечно же, лежал отсвет невысказанных тревог о нём и братского нашего единства перед возможной бедой... Так или иначе, эмоциональный фон как бы уже зашкаливал, и когда пришло известие о Валиной кончине, во мне вдруг возникло ощущение горя, ну просто не передаваемого... Какие найти слова, чтобы откликнуться?

Шёл и третий день, и четвёртый, а я все никак не мог собраться с силами.

Ещё в Краснодаре услышал по телевизору, что в ту ночь, когда Валя не дождал до утра, над Москвой случилось редкостное свечение неба. Записал в тетрадь:

*Это многие видели: в небесах тёмно-синих
был огненный свиток пространства
развернут и времени узел распутан.*

«Северное сиянье!» – решили.

А было – сиянье России.

*В горький тот час, когда с нею прощался
иркутский любимец*

Распутин.

11

Раньше не приходилось об этом писать. Только нынче додумался.

Студентом обивал в Москве порог «Геофизна». Научно-исследовательского института «физики Земли». Один сезон старшим рабочим протопал потом в экспедиции на Южном Урале. Другой, уже лаборантом – в Карелии.

Когда на четвёртом курсе в начале осени нам предложили добровольный выбор: дослушивать лекции в Большой аудитории или отправиться убирать урожай на алтайской целине, вскинул пятерню чуть ли не первым и «бригадир» там почти два месяца.

На преддипломной практике в Кемерове мне посчастливилось (нынче уверен, это именно так!) побывать в командировке на ударной комсомольской стройке Запсиба под Новокузнецком, тогда ещё – Сталинске. И я прямо-таки яростно решил после окончания учебы во что бы то ни стало туда вернуться.

Редакция крошечной, но зубастой газетёнки «Металлургстрой» стала для меня сбывшейся мечтой, не отпускаящей со стройки больше десятка лет. На все остальные записанные в моей

трудоустройке должности меня потом буквально затаскивали. Ну чуть ли не силком. И все они существовали для меня как некое продолжение «страны моей молодости». Нищей, но справедливой ударной стройки.

Вела необычайно мощная энергетика того, якобы застойного, времени? Несмотря ни на что, не хотел спадать в наших сердцах чуть ли не космический подъём ставших теперь легендой «шестидесятых»?..

Вздыбивший враз помолодевшую страну. Покрывший её сперва почти невидимой сетью дотоле нехоженых изыскателями троп. Где стягивающими эти одинокие тропы уже многочисленными узлами оставались новые заводы и города. Щедро протягивающие один к другому широкие асфальтовые дороги.

Прообразом будущего бескрайнего пути Отечества стал тогда прошивший сибирскую тайгу, связавший всё воедино БАМ. Нескончаемым звоном стальных рельсов и бронзой станционных колоколов звывший нас на новое, на всенародное вече...

Или все мы тогда понимали это вече по-разному?..

Да и возможно ли оно в такой, как наша, многоликой стране?

Старое вече на новый лад...

Но вспомним, как называлась самая первая книжечка Распутина: «Костровые новых городов». О строителях Красноярской ГЭС.

Когда, уже в девяностые, она вдруг обнаружилась в одной из многочисленных картонных коробок с книгами, путешествовавшими с нашей семьёй из Сибири на Северный Кавказ и после в Москву, пришёл с ней к Валентину: «за автографом». Неожиданному моему обретению он так обрадовался, что даже бисерный его почерк сделался, сдаётся, крупной: «Откопавшему эту книгу в неолитических слоях...»

Я тогда – откопал.

Но «откопают» ли в будущем если не всех, то хотя бы самых сокровенных, самых искренних из нашего пережившего столько неожиданных перемен поколения?..

«Костровых» неистребимого народного духа. И несгибаемого русского характера. Вобравшего теперь в себя столько самобытных составляющих инородного добрососедства и братства.

Позволю себе тут цитату из «Дневника» Юрия Нагибина, опубликованного уже в постсоветское время.

1973. Начало года:

«...где-то в стороне от проезжих дорог, разбитых копытами першеронов Маркова, Чаковского, Алексеева и иже с ними, начинает натаптываться, покамест едва-едва, тропочка настоящей литературы. «Пастух и пастушка» Астафьева, «Доказательства» Тублина, рассказы Г. Семенова, «Северный дневник» Ю. Казакова, интересный парень появился на Байкале – В. Распутин, рассказы Г. Немченко, Бог даст, к ним присоединится Беломлинская (В. Платова), лучшая из всех, великолепный взрослый писатель пропадает в Балле, всё лучше пишет В. Пиккуль, хороши очерки злобного Конецкого...»

Об этом нашем соседстве на страничке нагибинского «Дневника» мы с Валентином Григорьевичем потом никогда не разговаривали. Отрывок привёл лишь затем, чтобы получить некое подобие легитимности в дальнейших рассуждениях о приключениях русского Духа.

У которого и свои одинокие тропинки. И – свой Путь.

12

Итак, на немалую должность в престижном «Советском писателе» я попал не по своему «великому хотению». Руководство искало человека, не обременённого групповыми связями. Который не заглядывал бы в рот обитателям столичного литературного террариума. Попросту говоря – «змеятника».

Не знаю, кому обязан этим качеством, принесшим мне впоследствии столько разочарований, но, без сомнения, закалившим и научившим великому долготерпению Акакия Акакиевича из гоголевского рассказа «Шинель». Из-за нашего незнания святоотеческих книг, а то и пренебрежения ими навсегда зачисленного в ряд беспросветных, кем только не заклеимённых рабов...

Уже спустя годы, когда давно распрощался с должностью заведующего редакцией «русской советской прозы», с запоздалой завистью к актёрскому таланту и административной гибкости директора издательства Владимира Николаевича Ерёменко с невольной улыбкой вспоминал его зажигательные речи... Обращены они были или к какому-нибудь обиженному редакцией высокопоставленному чиновнику, решившему для себя, что он – заждавшийся своего часа литературный гений. Или – к комсомольскому, но тоже высокого ранга выскочке... Не они ли, в конце-то концов, и пустили ко дну некогда могущественный и богатый Союз писателей?

Эти выскочки.

«Как я вас понимаю! – проникновенно говорил Ерёменко очередному жалобщику. И кивал на меня, только что вызванного к нему в кабинет на «очную ставку». – Вы думаете, мне с ним сладко приходится?! Пытаешься что-то доказать – отскакивает как от стенки горох. Более того: он и редакторов так настраивает... Есть, видите ли, настоящая литература. Есть высокая планка, ниже которой опускаться никому не позволено... Мифами живёт, мифами!..»

Ожидая развития сюжета, я только вздыхал и пожимал плечами.

«Но!.. – и голос Ерёменко набирал твёрдости. Он словно захлопывал ловушку. – Но!.. Сам пишет, не бросает... Практик!.. Вот только что «Литературная Россия» опять похвалила его рассказ... Приходится с его мнением считаться... Что будем делать? Думаю, рукопись уважаемого автора необходимо отдать на новую рецензию...»

Это была проверенная «метода», принесённая нашим директором из отдела идеологии ЦК партии, где он перед этим работал. Называлась она: «гнать зайца». По кругу. Гнать и гнать...

«Новых рецензий» после могло быть и три, и пять... Как объявляют в пригородных электричках, «далее – везде», так тут «далее – всегда».

Но жизнь они облегчали только руководству издательства. «Среднему» звену – наоборот.

Мой заместитель Борис Тихоненко вскоре сказал мне: «Шеф!.. Хочешь знать, какую «подпольную кличку» ты получил у наших московских авторов?.. Знай: *запсибанец!*»

Ну, не остроумно?.. Не точно ли?.. Соединить в одном слове два столь дорогих мне понятия: Запсиб и Кубань. Придав заодно определению едкий, чуть ли не матерный характер.

Эх, если бы столько же изощрённого мастерства вкладывали новоявленные «москвичи» в свои унылые рукописи!..

Но ладно, если бы «под колпаком» у «литературной Москвы» оказался один лишь я.

Рассказывать о своих пишущих собратях, воздавая им должное, мне казалось всенепременным. Считаю и нынче, что такая открытость является не только мерой искренности, но знаком литературного рыцарства, тоже, к несчастью, уходящего в прошлое...

Жёстко наученный уже многому, я всё-таки не смог тогда расстаться с иллюзией, что сам себя судья – текст писателя.

И в родном издательстве начался умело организованный «зарубон» моих провинциальных соратников.

Но мир, как известно, не без добрых людей. С первых дней работы в «Совписе» у меня сложились деловые и без притворства уважительные отношения с дочерью того самого Георгия Мокеевича Маркова, чьи «першероны» продолжали разбивать «наезженную дорогу» советской литературы... Разве мир одномерен? Разве сказанное кем бы то ни было – истина в последней инстанции?

Ольга Георгиевна была к тому времени опытным редактором, и прежде всего я был убежден, что рукописи некоего Владимира Мазаева из Кемерово она даст справедливую оценку. Другое дело – как мне потом спасать рукопись, если будущая книга Ольге «не глянется».

Но Ольга прочитала рукопись почти стремительно и вдруг сказала: «Спасибо тебе, это настоящая проза. Ты знаешь, этот Мазаев чем-то напоминает Распутина...».

И я, не вдаваясь в подробности, не то что воскликнул – радостно заорал:

– Сибирь, Оля!.. Спасибо тебе, милая, – наша Сибирь!

Тоже ведь – землячка. Считаю, из Томска... А сколько там вверх по Томи – до Володиного «Рио-де-Киримонова»?.. Как называли областной центр где только не побывавшие наши запсибовские монтажники-«оторви ухо с глазом»... Сколько – до моего незабвенного «Нью-Кузнецка»?!

13

В тысяча девятьсот восемьдесят четвёртом году, благополучно миновав все подводные камни непредсказуемой литературной реки, сборник великолепной прозы Владимира Мазаева «Буду жив – увидимся» вышел, наконец, в самом престижном по тем временам издательстве. В «Советском писателе».

Но отыгрались мои нештатные согладаты на другом давнем сибирском дружке. На Геннадии Емельянове.

Та пора была в его творчестве переходной. От чистопородного реализма к фантастике на темы русской глубинки. И, чтобы подстраховаться, мы с ним решили: пришлёт не новые свои, с дорогой для души «чудинкой», повести – пришлёт проверенные временем рассказы и очерки на рабочую тему. Уже тогда в столице столь дефицитную.

Вариант беспроектный. Мастера (с большой буквы), равно Геннадию Емельянову в этой области духа (бесконечно теперь униженной) тогда, считай, не было. Разве что Анатолий Шавкута, сам бывший монтажник, выросший до начальника крупного производства, но сменивший реальную высоту своего положения на роль подсобника у широко известных изготовителей словесного, страниц на восемьсот, «кирпича». Первоначального романа-«сырца». Который «обжигал» Толя не чем-либо: жаром бесконечно щедрой души.

Зачлось ли тебе это добровольное рабство уже в ином мире, дорогой Анатолий Дмитрич?.. Зачтётся ли нам всем, кто давнее, привычным ставшее понятие «негр» осовременил якобы смягчающими, оправдывающими неволю прибабасами: «переводчик» («с корейского», да – «все равно кого, лишь бы скорей»); «литературный записчик»; «обработчик»?..

А тогда, помнится, он и был рецензентом Емельянова. Анатолий Шавкута. И они потом, уже как старые знакомые, встретились, когда наша «Рабочая комиссия» при московском Союзе, в которой мы с Толей были сопредседателями, ездила ранней осенью по Кузбассу... как вспомнишь!

«Горячий стаж», книжка о металлургах Кузнецкого комбината, вместе с такой же легендарной, как он, «Магниткой» раздолбавшего в Отечественную войну знаменитую, из германского Рура, крупновскую сталь, тоже всё-таки вышла в «Советском писателе». Даже по тем временам большим тиражом. Но сколько Геннадий Арсентьевич ни колесил по земле Кузнецкой в поисках своего детища – нет и нет!

Зато потом я увидел емельяновский «Горячий стаж» ну почти в фантастическом изобилии!.. По периметру самого большого книжного магазина в Краснодаре на прилавках в тот год выставлен был красочный сборник «Советского писателя» «Северянка». Который перед этим напрасно ждали совсем в другом городе...

Трудились над сборником почти три десятка столичных прозаиков не последней руки и журналистов с известными именами. Оформлен он был ленинградским академиком Владимиром Ветрогонским, знаменитым в ту пору Ветрогонном, с удивительными его акварелями... Как мы, и действительно, ждали этот подарочный сборник на митинге по случаю пуска домны «пятитысячницы»! На «Северной Магнитке». В Череповце.

Это её назвали уважительно и ласково: «Северянка».

Но вагон с книгами о создателях уникальной домны неизвестный нам «стрелочник» перенаправил на юг.

– И что, покупают её? – ещё ничего не понимая, спросил в Краснодаре у молоденькой продавщицы.

Та насмешливо поморщилась:

– Да кому она тут?.. Один экземпляр, правда, украли: картинки уж больно красивые...

Не напрасно старался уважаемый академик, нет!

А разговорчивая продавщица повела рукой на полку повыше и сняла одну из многочисленных, тоже одинаковых книжек:

– Вот и эту зачем-то сюда прислали...

«Горячий стаж»!.. Ну не слишком ли?

Более того, более...

Когда вернулся из отпуска, той же ночью у нас в московской квартире раздался телефонный звонок, и нагловатый голос спросил, как о чём-то хорошо понятном обоим:

– Ну ты видел, конечно, в Краснодаре?.. «Северянку» свою.

Ответил почти автоматически:

– Видел, да. Но почему она там?

В нагловатом голосе появилось нарочитое презрение:

– На родине главного закопёрщика, ты не понял?!

– При чём тогда «Горячий стаж»? – спросил всё ещё спросонья.

– А разве это плохо? – насмешничал явно готовый к этому вопросу наглец. – Когда друзья рядом, а?..

Это было название общей нашей, совместной с Геной Емельяновым книжечки, вышедшей в Кемерове ещё в шестьдесят первом году, «Когда друзья рядом».

Серьёзные ребята готовили «перестройку». Начитанные.

И много лет я считал, что только своей неговорчивой, зловредной персоне обязан примерно-показательной демонстрации «Северянки» с «Горячим стажем» в столице Кубани...

И только нынче, работая над этими записками о Володе Мазаеве и Валентине Распутине, о многих других, уже поселившихся в мире ином, и о тех, кто здравствует пока в нашем привычном... только нынче сообразил, что сам-то я – «пятая спица в колеснице».

А суть в том, что богатая и привольная Кубань стала в те годы полем сражения чрезвычайно проворных «перестройщиков» с тугодумами-«застоянцами».

И ставропольский сосед Горби, добравшийся до Кремля на пресловутом своём комбайне и проезжавший через ухоженные поля и рисовые чеки приговорённого к закланию всесильного дотле крайкомовского секретаря Медунова, конечно же, должен был повсюду наткнуться на приметы «совкового» идиотизма. С которым надо покончить, ну прямо-таки немедленно. Ещё вчера.

Тем более – в родном городе любимой жены и наставницы Раисы Максимовны.

А ты, Запсибанец, возгордился!..

Литературный холоп. У которого и «трещал чуб» только оттого, что «паны дрались».

Или наоборот: братались?

С «панами» «из-за бугра»...

14

Года два, пожалуй, назад в «Литературной России» появилась большая обзорная статья о современной прозе, в которой рядом стояли имена дорогих мне старых товарищей: Вали Распутина и Володи Мазаева... Или всё же: Валентина Григорьевича и Владимира Михайловича?

Почтим память упорно забываемого нынче писателя-сибиряка, нашего кузбасского земляка Чивилихина!

В середине восьмидесятых заглянул в наш с Тихоненко кабинет, когда я был один и не мог оторваться от разговора по телефону. Энергичным жестом пригласил его войти, а после то и дело прикрывал головку микрофона ладошкой, чтобы коротко сказать: «Здравствуй, Володя, здравствуй!» «Присядь пока, присядь...» «Серьёзный разговор, обожди чуток...»

И всё: «Володя, Володя». Чтобы подчеркнуть, значит, братскую близость.

А он – ну будто нарочно!.. Всякий раз в ответ – имя-отчество и непременно – «вы»...

Положил трубку, наконец, и чуть ли не с обидой спросил:

– Чё эт ты, Володь?.. Какая муха укусила?

А он так серьёзно и так значительно:

– Да нет же, Гарий Леонтьевич, нет. Однажды просто раздумался. Как мы все с вами – друг дружке?.. Володька!.. Гарька! А ведь мы – может быть, последние представители русской интел-

лигенции, которая ещё осталась в нашей стране... уж какая есть! Но – ещё осталась. Какой пример подаём?.. Так что давайте, с вашего позволения, станем-ка по имени-отчеству и на «вы». Надеюсь, не будете против?

И я оторопело, но чуть ли не с восторгом сказал:

– Да что вы, Владимир Алексеевич! Конечно же нет.

И нынче переживаю тот ну прямо-таки сокровенный миг: будто что-то чрезвычайно важное открылось не только в стремительно приблизившемся и будто объявшем меня великом прошлом Отечества, но и путеводною звёздочкой возникло вдруг впереди.

Несколько лет потом я не только сам исповедовал неожиданно вспыхнувшую эту возвышенную веру: в спасительное предназначение своего поколения. Я её прямо-таки страстно проповедовал.

Пока не затянула внутрь хаоса ненасытная воронка чуть ли не всеобщего хамства...

Но может быть, опять попробуем потихоньку? Для начала – с этих троих.

А четвёртым станет Вячеслав Иванович Елатов. Многолетний преподаватель русского языка и литературы, окончивший в своё время филфак Ленинградского университета и навсегда осевший в соседнем с Новокузнецком Прокопьевске. Завзятый книголюб, за долгие годы размышления над прочитанным вызревший в серьёзного, каких нынче уже мало осталось, литературного критика.

Немедленно разыскал его телефон, тут же позвонил поблагодарить и был воистину счастлив. Когда убедился, что это вовсе не тот случай, какого я всё-таки опасался: известное дело, мол! Прокопьевский «кулик», за неимением собственного, хвалит соседнее кемеровское «болото»... Нет же!..

Когда в очередной раз собрался довести до ума свои «Писательские союзы...», снова позвонил ему из Москвы в Прокопьевск. Как говорится, сверить часы.

И первым делом пришлось сибирскому земляку и ровеснику соболезовать: только что вернулся из Санкт-Петербурга, куда самолётом отвозил урну с прахом верной своей Нины Петровны. Пятьдесят шесть лет были неразлучны, но всегда говорила, что упокоиться хочет рядом с родными могилами: коренная петербурженка...

Может, и его самого живущая в Кемерове дочь определит потом рядом с прахом жены, как знать!..

Точно лишь то, что бессмертная душа, изболелавшаяся в этой «чёрной жемчужине Кузбасса», в Прокопе, с его почти бездонными провалами и трещинами, покрытыми чуть не надвое разломившимися пятиэтажками-«хрущобами», эта бессмертная душа будет постоянно возвращаться в сияющий надеждами молодости великий шахтёрский город Прокопьевск с его гордыми бесконечным своим терпением людьми, удивительным рестораном «Славянский базар» и знаменитой пивной «Бочкой», вокруг которых так и роятся обделённые подобными радостями завистники из серого, графитовой пылью постоянно припорошенного Нью-Кузнецка...

Так или иначе, общие наши с Вячеславом Ивановичем литературоведческие, по межгороду, изыскания были, конечно же, некстати, и мне пришлось отложить их и всё додумывать самому.

Что общего у этих двух писателей, таких на первый взгляд разных?.. Почему в размышлениях о них творчество Распутина сделалось неким мериллом для оценки достижений его кемеровского коллеги?

Не исключено, что несколько позже Вячеслав Иванович, дабы утишить своё горе горькое (по-моему, это одно из любимых словосочетаний Валентина Григорьевича) и забыться в работе, расставит всё по местам уже как дотошный критик. Со знанием дела «разложит по полочкам»... У меня же метод единственный: природжённая интуиция, подпитанная сибирским прошлым и прошедшая потом испытание в «столице всего передового и прогрессивного». Как мы называли когда-то Москву.

Все люди делятся для меня на две противоположные категории. Одни излучают добросердечие, участие, готовность помочь, и окружающими это воспринимается на подсознательном уровне. Слово «производители» для них не подходит, я бы назвал таких «делателями». Созидателями. Творцами.

Вторая категория – беспросветные потребители. Захватчики.

И бесконечные сочетания двух этих противоположных начал как в одном-единственном человеке, так и в малом сообществе либо в малом или большом государстве не дали нам скучать на протяжении всей человеческой истории...

В этом они очень схожи: два излучателя тихой доброты и спокойствия. Два молчуна. Два затаённых скромника. Два поборника бытового порядка, постепенно ставшие чуткими хранителями чистоты внутренней.

Как-то однажды в доме у Валентина Григорьевича, в бывшей депутатской квартире на Сивцевом Вражке, вдруг выяснили, что в обоих нас пропадает уже застарелая, к нашим-то годам, прачка...

Откуда эта любовь к стирке?

Одно дело – необходимость достойно выглядеть и комфортно ощущать себя в ближних и дальних поездках. Другое – может быть, неосознанное желание чистоты. И на себе. И – в себе.

У Владимира Михайловича, у Мазая Мазаява, дальние поездки случались не столь часто: больше пропадал в экспедициях. Но тоже был самый настоящий «енот-полоскун». Любимым делом занимавшийся в тихих бочажках таёжных ручьёв да в стремительных водах горных речек.

Два излучателя внутренней чистоты и добра... Но вот какое дело!

Валентину Григорьевичу на роду была написана счастливая писательская судьба... Да что там говорить: выпал фарт.

Сибиряк со звучной фамилией, чуть ли не сразу оказавшийся в центре внимания читающей публики.

У истинно русского человека в крови – давнее уважение к Сибири, прямо-таки пиетет перед ней, Матушкой.

«Славное море, священный Байкал!..»

Кто из нас, даже совершенно безголосых (кому медведь на ухо наступил не мимоходом, а еще и потоптался), кто не выкрикивал этого в широких, какие были раньше, хоть и бедных, застольях?!

Слава очень рано полюбила Валентина Григорьевича. Родовой чалдон, он остался к славе равнодушен. И тем её как настоящий любовник лишь раззадорил и, сам того не желая, довёл ну почти до иступления.

Что я этим хочу сказать?.. А то, что Распутину было что «излучать»: уважения соотечественников имелось у него чуть не в излишке.

А что наш Мазаяев Мазай?

Таким, как он, на окружающих не приходилось надеяться: живительную энергию человек-

ности вырабатывали часто в полном одиночестве, сами. И, бывало, нерасчетливо отдавали всю целиком...

Звание Героя Социалистического Труда Валентин Григорьевич получил, кроме прочего, стараниями тогдашнего первого секретаря Иркутского обкома Василия Ивановича Ситникова. Только что переехавшего в те поры в Иркутск из Кузбасса.

То была могучая школа Ештокина – нашего многолетнего «первого». Разве не видел Ситников, как заботился о писателях, о художниках, вообще о людях искусства незабвенный, столько сделавший для Кузбасса заботник Афанасий Фёдорович? Среди рёва стальных машин и грохота промышленных взрывов в разных концах Кузбасса уловивший глухую людскую тоску по достойной жизни. Ясно понявший и значение, и заглавную роль высокого Духа.

Попавший в Иркутск везунчик Ситников прямо-таки осуществил голубую мечту Ештокина о добропорядочной, умной интеллигенции, не только просвещающей, нет – особенным трудом своим прямо-таки *освящающей* великую миссию рабочего класса, который потом, уже без него, презрительно обзовут «гегемоном».

А Ситников попал на благодатное место, и ему, не сомневаюсь, очень хотелось самому осуществить эту благороднейшую ештокинскую мечту.

И не надо тут упрекать меня в излишнем преклонении перед Афанасием Фёдоровичем: я знаю, что говорю.

Разве над Иркутском и далеко окрест не сияла, подобно древней Вифлеемской, звезда вознесённых на почти недосыгаемую духовную высоту «декабристов» с их самоотверженными жёнами? Имеющими на самом деле куда большее право на уважение и всеобщее почитание, нежели их прекраснодушные и велеречивые, порченные масонскими ложами мужья?!

Ведомому интуицией, теперь мне открылось, зачем вставил в отчет подробный отчёт с торжества Владимира Петровича Скифа. Иркутск – город давних, но не постаревших от этого славных традиций. Даже то, что свояки наши, Распутин и Скиф, жениться сподобились не на ком-либо – на дочерях известного поэта Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского – имеет в нашем разговоре значение.

В переломные годы строительства социалистического государства, которое записные краснобаи величают теперь «красной империей»,

на радение иркутского поэта о молодой смене обратил внимание Максим Горький. С мальчишками из своей «Базы курносых» Иван Иванович был потом у него в гостях.

«База курносых», хотите этого или нет, стала основой многого, что произошло потом на Байкале... Может, это они, «курносые», стараниями Распутина, устроили потом праздник «Сияние России», так необходимый в ту пору мятущейся, потерявшей привычную опору стране?

Но что делать!

У наших далёких, и не столь – тоже, предшественников на Кузнецкой земле всегда были несколько иные заботы. Мемуаров либо других письменных заветов нам не оставили ни первопроходец-самоучка Михайло Волков, отыскавший на берегах Томи «горючий камень». Ни даже высокообразованный металлург Курако... Пожелавший запить предстоящую свою гибель кружкой такого вонючего самогона, что услышавший его запах и попробовавший на вкус «отморозок», как сказали бы теперь, главарь банды «беспредельщиков» Рогов решил несчастного человека помиловать...

16

Однажды весной мы с Валентином Григорьевичем случайно встретились в московском метро. В самом центре: на переходе из «Библиотеки Ленина» на «Боровицкую».

Он был налегке, а я тащил тяжёлый «крафт-мешок» из плотной бумаги, доверху наполненный черемшой, в Кузбассе её зовут – колба. Только что во Внуково забрал. В гостиничке для пилотов. Старый друг Райх Виктор Александрович, Витя, которому в ту пору подчинялась областная «санавиация», договорился с «летунами», чтобы перевезли в кабине. Ценнейший этот продукт, по-моему, первый начал «подвергаться санкциям»: правда, внутри страны.

Как я встрече с Распутиным обрадовался!

Начал говорить что-то такое: «Ну не везенье ли?.. В многолюдной Москве первым делом столкнуться с человеком, который наверняка знает цену целебным свойствам этой обитательницы тайги!..»

Говорил, а сам всё пытался развязать тугой нейлоновый узел на горловине мешка. Всё правильно!.. Завяжи послабей, и запах изнутри такой вырвется, что самолёт, чего доброго, придётся сажать на автопилоте... Как бы тут, в метро, когда развяжусь, в газовой атаке не заподозрили!

Сунул, наконец, пятерню в мешок, достал богатырский верхний пучок – ну хороша!

– У нас она другая, – удивился Валентин Григорьевич, рассматривая только что прибывшую столичную гостью. – Такой длинной и с таким толстым стеблем, по-моему, и не видел!

Ну как тут не расхвастаться?! Как не сказать, что наши Кузнецкие предгорья, знаменитые отроги Алатау, как Земля – на трёх китах, прямо таки сплошь лежат на таблице Менделеева... Всё там есть, всё!

Как и в черемше в бумажном мешке!

В нашей *колбе*.

– Ну силён этот кормленный Дмитрием Ивановичем *дикорос* – хорошо, что мне выходить! – со знанием дела сказал Распутин. – А то как бы я эти пучки провёз?!

Вспоминаю теперь и улыбаюсь. И грустно, и радостно.

Многие из нас, если не все, были в Сибири такими же «дикоросами»...

И парни из знаменитой тогда, в шестидесятых, «Иркутской стенки»: Геннадий Машкин, Александр Вампилов, Вячеслав Шугаев, Андрей Румянцев, Юрий Скоп... Сам Валентин, державшийся всё-таки наособицу. Как и Андрей Скалон. И одинокий в своих колымских краях Олег Куваев... Как я всё-таки не собрался к нему поехать! Знал бы наверняка больше нынешнего: Олег, пожалуй, просто не мог не дружить с Альбертом Мифтахутдиновым... А Владимир Санги?... Нивх, по созвучию с национальстью которого с лёгкой моей руки появилось тогда на сибирских просторах племя *ливхов*, куда более многочисленное... А страдалец Женя Богданов с мудрым и нежным своим «Сибирским цирюльником». Написавший мне в «дарственной» слова, дороже которых для меня трудно найти. Он нашёл: «От сибиряка по рождению – сибиряку по призванию»... Кто ещё, кто?

17

Как и висевшее на стенке чеховское ружьё должно, в конце концов, выстрелить, так и заявленный чуть не в начале этого грустного повествования спиннинг Мазаева... обязан проявить себя по назначению.

Тем более что сказано было, кого он якобы «выловил».

Было так и не так.

Но это мне рассказывал сам Владимир Михайлович, и оснований не верить такому правдолюбцу, как он, у меня просто не имеется.

Над демократическими иллюзиями старого друга я не только посмеивался – открыто написал о них в рассказе «Сибиряки в Кремле, или Секреты творчества»... Уже во втором, как этого не сказать, рассказе, не только посвящённом Владимиру Михайловичу. В нём он – главное действующее лицо.

Но этой истории там нет, как в Кемерово приехал Тимур Гайдар. Посетить места, где в годы Гражданской, будь она проклята, войны сражался его отец, будущий известный писатель. И где ему стоит памятник. Не такое уж частое в обширной стране с писателем Гайдаром явление...

Конечно же, Мазаев был рад сопровождать именитого гостя – и в мемориальной, так скажем, поездке в Мыски. И – на рыбалке в Горной Шории...

Над этим, бывает, посмеиваемся, но не те ли самые всеведущие и могучие духи предков, в которых до сих пор горячо верят шорцы, перевернули лодку с гостем из Москвы?.. Прямо скажем, не таким и желанным. Ведь в этих как раз местах безжалостный красный командир и распорядился чужими жизнями...

Дело было, как понимаю, на Кабырзе, в районе её знаменитого порога, разбившего не один купеческий карбас с золотом ещё в старое, дореволюционное время и упорно подтверждавшего дурную свою репутацию уже в наши дни...

Как опытный таёжник, Мазай Мазаев не только сам вылез из лодки – сделать это же уговаривал и столичного гостя.

Не берусь описывать диалог двух адмиралов. Настоящего к тому времени, Тимура Гайдара. И – будущего. Мазаева. «Адмирала сибирской прозы».

Это – разве не высокое тоже? – звание «присвоил» Владимиру Михайловичу благодарный Тимур Гайдар. Когда они, уже в Кемерове, попиwali коньячок и в очередной – уже в который! – раз проводили связанный с приключениями на Кабырзе традиционный «разбор полётов».

Мазаев тогда, старая таёжная школа, пробежал по берегу вниз по течению, и, когда адмирал Гайдар пытался самостоятельно, уже саженками, «пристать к берегу», к которому «пристать» было и впрямь невозможно, Олодя наш, изловчившись, протянул ему конец своего выдавшего вида спиннинга.

– Да вы спасли меня, адмирал! – говорил Мазаеву Тимур Аркадьевич за коньячком в столице Кузбасса.

– Нормальный ход, адмирал! – смущённо отнекивался Владимир Михайлович. – Спасибо за высокое литературное звание – оно дорого стоит!

– Приедете в Москву, адмирал, тут же звоните...

– Непременно, адмирал: всё будет тип-топ!

Ну не провинциальная ли идиллия, а?

Вышло вдруг так, что решил не звонить. Сделать московскому адмиралу сюрприз: всё равно должны были встретиться на каком-то литературно-демократическом сборище.

– Я, глупец, даже сказал тогда ребятам-сибирякам, что рядом стояли, – рассказывал мне Мазаев Мазаю. – Смотрите сейчас, смотрите... Не убегайте потом. За стол – вместе, я приглашаю...

Но адмирал спокойно прошёл мимо, а когда Володя догнал его и назвал по имени-отчеству, тот, едва взглянув, холодно сказал:

– Извините, не имел чести знать...

Столичный отрезвляющий душ...

18

Но не станем осуждать ни Тимура Аркадьевича, ни его новую команду.

Оборотимся на себя. Ещё недавно сидевших в одной большой лодке, которая, плавно покачиваясь между широкими берегами, величаво неслась по глубоководной реке времени.

Якобы застойного. На самом деле – с такими невидимыми глазу встречными течениями, подводными пещерами без конца и без края, бездонными водоворотами и воронками.

Какая там тебе Кабырза с её Хомутовскими порогами! С жалкими Хомутами...

Нашей «большой лодке» хотелось дать символическое, само собою, название. Может, «Братство». Может быть, «Старая Дружба». Или – «Товарищество». Может быть, даже «Неразлей-вода». Что такого?

Как теперь понимаю, исключительно для того, чтобы кто спасся и бродил потом по берегу, с удивлением бы останавливался: «Старая дружба», надо же... Где-то они теперь, друзья?.. Куда унесло?..» Или это вот: «Старое товарищество», гм...

Кто тогда кому руку или что было под рукой протянул?.. Кто кого выдернул из потока, который уносил не куда-нибудь – в забвение?

Многие, по-моему, вообще решили, что это своего рода забавный аттракцион, всеведущим начальством придуманный только для того, чтобы все мы слегка встряхнулись. Ну как старые псы. Как молодые суки. Либо ещё почти незрячие щенки. Когда из воды выбираются на берег...

Как во всяком приличном издательстве, были у нас в «Советском писателе» свои, можно сказать, патентованные графоманы. Проводившие у терпеливых редакторов столько времени, что на штанину им давно пора было прикрепить инвентарный номер: тогда они где только и на чём не висели.

Прижился такой и возле меня. Пожалуй, самый настырный. Из Ростова.

Так его, пожалуй, и назовём: Ростовчанин.

Роман, почти безразмерный, ему завернули и раз, и два, но в нашей главной редакции он добился-таки обещания, что рукопись непременно прочтает не только редактор, но и «заведующий прозой».

Прочитал я страниц семь-восемь, но когда дошёл до фразы «её горячие слезы брызнули в дорожную пыль», сказал себе: «Хватит, достаточно».

Оказалось, достаточно лишь для меня.

Пришедший для разговора Ростовчанин удивился:

– А что здесь не так? – и без всякого перехода, без перемены интонации продолжил. – Мож-но, я тут у вас на краешке почищу яблоко?

23

Сказал так свойски, так по-домашнему, что мне осталось только слегка приподнять ладони. Над ворохом бумаг, который он с края стола успел ко мне пододвинуть.

Потом бывало, он чистил там же яйцо, резал колбасу, счищал с куска сала лишнюю соль, и оно отзывалось таким аппетитным запахом, что в дверь начинали заглядывать секретарши...

О рукописи его мы никогда не разговаривали, только и того, что иногда, прощаясь, он надолго задерживал руку в своей и чуть насмешливо спрашивал:

– Значит, не бывает?.. Ну обождём ещё, обождём...

Потом началась эта, не к ночи будь помянута, перестройка, и я первый в издательстве хлопнул дверью, вообще перестал ходить куда бы то ни было, но Ростовчанин вдруг бросился ко мне от хлебного магазина неподалёку от нашего Савеловского вокзала.

На ходу раскрывал на нужной странице прекрасно изданную, с золотым обрезом по мелованной бумаге, книгу и победно кричал:

– А вот и бывает, вот!

Сунул, что называется, под нос развёрнутую книгу, шрифт был крупный и яркий, и рядом с ка-

рандашной галочкой я прочитал: «Ей стало отчаянно больно, и через высокую, шестой номер, грудь её горячие слезы брызнули в дорожную пыль...».

– Теперь всё бывает! – торопливо и радостно говорил Ростовчанин. – Любую книжку издать. Были бы деньги... Может, пойдём где посидим? В приличном месте. Не всё же у вас за столом яичко чистить.

– Очень спешу! – сказал. – Ну никак...

– Может, хоть подписать? На память...

– Дай-ка ещё раз глянуть...

Вчитался в строку, вернул книгу.

Он спросил уже в спину:

– Бывает всё-таки?

– Ты прав, да! – откликнулся я уже совершенно чистосердечно.

Потому что вдруг понял, чьи это были слёзы.

Многострадальной советской литературы...

20

А как они работали, Господи!

Ушедшие от нас мастера...

Не может быть, чтобы плоды их титанического труда пропали бесследно. Не может быть, чтобы в горнем мире они оставались без мучительного, временами ненавистного любимого дела.

Не может быть, чтобы старые русские мастера, ставшие нашими Учителями и Наставниками, не приглядывали за нами со своих духовных высот и не подавали нам знаков. Лишь бы мы научились верно их толковать.

Вот и сибиряк-иркутянин Иван Тимофеевич Калашников, издавший в тысяча восемьсот сорок первом году в Петербурге роман-предупреждение «Автомат», одним только видом буйно зазеленевших байкальских лиственниц за окном вдруг напомнил о своем завещании потомкам: «Одна идея бессмертия держит порядок общественного устройства, с которым сопряжено не только развитие умственных сил человека, но и само существование его».

Уверуем в это, наконец?

Или так и не услышим зов этого заботника? Сквозь царящий над миром убийственный перестук тысяч и тысяч автоматов совсем другого Калашникова. Михаила Тимофеевича.

Сквозь вой бомбардировщиков и свист крылатых ракет...

Неужели обречённо привыкли?

24 мая 2017 года.

Как хорош этот мир!

Привычный, земной.

С каждым годом, сдаётся, всё лучше начинаю понимать столетнего Эрнста Юнгера, немецкого писателя и философа, боевого (ещё с Первой мировой, с Великой войны, как называла её русская белая гвардия) офицера. Уже будучи почти планетарной известностью, во Вторую войну он должен был налаживать культурный контакт с интеллектуальной элитой оккупированной Франции, жил в Париже, но в тысяча девятьсот сорок втором году духовная жажда, смешанная с профессиональным любопытством, отправила его на Кавказ. К подножью Эльбруса. На котором тогда обосновались монахи с Тибета, чьей заботой было предсказание итогов германского «дранг нах Остен». Похода на Восток.

Читая не так давно изданные у нас «Дневники» Эрнста Юнгера, пытался представить его воздушный путь к «горе Ошхомахо», как издавна называли Эльбрус черкесы, древние насельники Северного Кавказа. Путь этот пролегал тогда над нашей Отрадной, и станичники, услышав гул самолёта, кто где прятались: под сеткой кровати в хате, под раскидистой яблоней в саду...

Мы с меньшим братцем, с Валериком, бросались к большому кусту бузины рядом с домом. С прохладных ямок сталкивали прятавшихся от жары куриц, а то и недовольного нашим вторжением, возмущённо кокотавшего петуха...

Как теперь понимаю, что было делать?

Если в этих, совсем для другой цели выгребенных куриными лапами «убежищах», укрыться нам тогда можно было почти с головой?

А что если, думал я иногда с иронической, с горькой улыбкой, сквозь плексиглас самолётного окошка немецкий мудрец тогда видел двух русских малолеток, вместе с курицами прятавшихся от него под раскидистой бузиной?..

И сам потом после страшной войны закопался в своей родовой усадьбе в саду. На цветочных клумбах и грядках с овощами и зеленью. В спасительнице-земле...

...Во мне в эту вешнюю пору начинается очередная прилив острой сибирской ностальгии...

Тонкие, но заодно тугие даже на глаз пики черемши, которые там и тут пробивают и чёрную землю, и кое-где насыпанную поверх рыжую глину, как бы заодно покалывают и твоё сердчишко... Вот она, вот!

Народная наша кормилица.

Хранительница стойкого духа.

Всякое утро начинаю с обхода своих крошечных черемшинных плантаций: в тени и на солнышке; возле кустарника и в негустой траве; под бревенчатым боком банки и рядом с металлической сеткой на меже. Кое-где черемша давно перебралась к соседям: не только сквозь крупные ячеи у земли, но и через подложенные под ограду бетонные балки. Перенёс ветер.

Это их товарищество, совсем недавней, молодой переселенки-черемши и старого бродяги-ветра, мне понятно и отчего-то очень дорого. Куда только он не занесёт крошечное семечко молодой своей сибирской подружки. Зелёный маленький язычок, бывает, увидишь в гуще ну уж такого бандитского подмосковного бурьянца!..

«Подрастай, родненькая! – скажешь чуть не со слезой в глазу. – Нынче на Руси у нас так. Но я теперь знаю, что ты здесь. Стану наведываться. Буду помогать. Держись, милая! Держись».

С каждым новым на белый свет явившимся черемшинным росточком на душе становится всё светлей и спокойней.

Но однажды вдруг увидел грядочное соперничество, которое сам же, выходит, когда-то и спровоцировал...

Нынче не помню, что раньше я в деревне перед крыльцом посадил: корешок недорезанной где-нибудь на берегу горношорской Кабырзы черемши, мешок которой со знакомым пилотом старые дружки передали из нашей Кузни... Или пару росточков ландыша, охотничьим ножиком выкопанного в подмосковном лесу по дороге из Скоротова, ближней от нашего Кобякова станции.

Долго ли, как в старых сказках, иль коротко, только очередной весной обнаружил, что они растут уже вперемешку: ландыш и черемша.

«Ничего себе, – подумал, – соседство!»

Сладенького городского запашка с пролетарской вонью.

Да только кому что родней!

На следующий год хотел вызволить черемшичку из плена у ландыша, он её явно угнетал, как столица провинцию, – не тут-то было!

Настырные корни ландыша так прочно и будто бы колдовски-таинственно переплелись, что выпутать из них одинокий стебелёк с маленьким ядрышком, казалось, нет никакой возможности... Так незаметно и забирают красотки в сладкий плен наших богатырей-одиночек?

«Что же это, – думал я, – что же?!»

Иное одинокое семечко бесстрашно устремляется в свой непредсказуемый путь по воздуху...

Другое тайно крадётся под толщей земли, крепко держась за руки с остальными такими же...

И проникает потом не только через корни задушенной ею соседки-травы – вдруг покорежит бетон...

22

Ладно бы чай с размятым листом чёрной смородины – даже случайно задетый её, когда идёшь по дорожке рядом, отросточек с почками ну будто прыскает в эту пору живительным духом. И всякий раз мне вспоминается одна и та же картина из дальней сибирской молодости...

Каждый год в эту пору Володя приезжал в Новокузнецк, на нашу Антоновскую площадку. С архангелогородским помором Славой Поздеевым, давно Станиславом Андреевичем, работавшим тогда на Записибом начальником цеха водоснабжения, мы ждали его приезда, готовились к очередной душеспасительной вылазке в тайгу.

Время это считалось опасное: после долгой спячки как раз просыпался Хозяин тайги. Прокурор...

Всякий раз подтверждая не последнее своё место под сибирским неласковым солнышком, забирался на обтаявшие склоны сопки, на окаты. Раскапывал целебные корешки, грел исхудавшие за зиму, линяющие бока.

Среди начинающих, вроде нас, охотников ходили байки, что в это время, со сна, мишка, желая поживиться, может неожиданно выйти на звуки предназначенного подзывать рябчиков манка, и на такую охоту собирались тщательнее обычного.

В тот раз производственные хлопоты выбили нашего друга-помора из колеи, выезжали мы как на пожар.

Вдвоём с четвёртым участником нашей экспедиции, механиком богатырского роста, в кузов «атээски» – артиллерийского тягача среднего, ещё недавно армейского – они забрасывали походную утварь и охотничье снаряжение, а мы с Мазаевым всё это подхватывали и едва успевали хоть в относительном порядке раскладывать вокруг раскинутого мехом вверх безразмерного тулупа, на котором нам предстояло расположиться. Поздеев, бывший танкист из тех добровольцев-дембелей, что в дорогом сердце шестидесятом году эшелонами ехали к нам на стройку, сам сел за рычаги, а это означало, что душу он из нас вытрясет.

Уже с подножки снова поторопил:
– Всё, ребятки, я трогаю. Связь мои хлопцы вырубил, но только и жди: от директора примчится курьер с приказом... всё, всё!

А директор тогда был – о-о-о!..

Железный «дед» Климасенко.

Взревел мотор, нас тут же уложило на тулуп и стало забрасывать только что погруженным бутором. Ну будто каждая, даже малая, хохоряшка намерилась непременно лечь с нами рядом, а то и сверху. Облитые солярой запасные ёмкости тут же забастовали, решив, видимо, остаться в родном гараже. Начавши с первым рывком двигаться от кабины к заднему борту, они уже тёрлись о наши ушанки.

– Вырвемся с завода, он остановит! – кричал я сквозь грохот Володе на ухо. – Тогда уложим как надо...

Кабы!..

На скорости танковой атаки помор наш промчался не только по бетонке за проходной завода, но не сбавил её и на ближней грунтовке...

Испытывал своих дружков-писателей?.. Не давал обрасти жирком? Закаливал?

Тяжеленный рюкзак Мазаева нашёл хозяина первым. Прыгнул Володе на грудь. Мой не захотел отставать и тут же придавил бок уложенными на дне консервными банками... Бунт на корабле!..

На одолженном у дружков-монтажников вездеходе...

Или это обстоятельство и стало причиной бунта?.. Торопливо распаханные по углам монтажные «аборигены» – ручная лебёдка, свёрнутый кольцом трос, тяжёлый, вопросительным знаком, стальной крюк – тут же стали возвращаться на середину. Куда против них было нашим ружьям в чехлах, палаткам и спальным мешкам!

Когда началось благодатное для гусениц бездорожье и по сторонам замелькали ещё голые осины да редкий ельник, мы с Володей опомнились в противоположных концах просторного кузова. Каждый придерживал за края гигантский тулуп, собравший под собой в центре тягача почти весь старый и новый скарб...

Резко пахло поднятой тряской ещё заводскою пылью, коксовым газком и отработанной соляжкой. Следы свежей виднелись у Володи на щеке, и по шедшему от моих усов запашку я понял, что и меня не миновала такая же участь.

И вдруг всё сменилось неодолимым благодным запахом. Остро потянуло размятой дикой смородиной, ну так остро!..

Почти тут же вездеход наш будто споткнулся на ходу и резко взял вбок.

Сквозь рёв дизеля послышался не то чтобы одобрительный – прямо-таки восторженный голос Володи:

– Эту объехал! Пощадил...

С пониманием, годами выработанным в похожих ситуациях, когда больше говорят жест или взгляд, я повёл подбородком на кабину, приподнял голову и закатил глаза: что ты, мол!.. Или не знаешь Славку?!

Мотор вдруг заглох, всё в кузове ещё раз подпрыгнуло и разом замерло. Над передним бортом появилась голова нашего помора:

– Спрямить хотел, мужики!.. Придётся обратно...

Нас покачало и снова затрясло. Опять на грунтовке. Прерванный было спор начал якобы бездушный наш общий бутор. И заводской, и охотничий.

Опять пошли в наступление крашенные неживым зелёным цветом плоские ёмкости с дизельным топливом...

Но что это значило по сравнению со стойким, необоримым духом дикой смородины!

Спинами в ватниках колотились о железные борта, ногами, почти не глядя, отпихивали мешки и железки. И всё приподнимали ладони в радостном изумлении: «А?!..».

– Осталась на траках! – кричал Володя, и в обычно тихоньком его, временами ворчливом голосе слышалась ну прямо-таки гордость от причастности к самоотверженному и терпеливому таёжному миру.

23

Нынче размышляю: «Может, как раз тогда, пусть ещё неосознанно, мы ощутили себя такими же «дикоросами» из первого поколения послевоенных писателей, тех самых «детей войны»... Упрямо поднявших на раскорчёванной не первым жестоким ураганом нашей земле».

«Нормальный ход!» – как любил говорить Мазай Мазаев.

И таёжная смородина каким-то чудом сообщила нам тогда непреодолимую веру во вселенскую стойкость вовсе не таёжного – русского мира...

Может, и верно – всё ещё будет тип-топ?

Пока не вечер, ребята!

2015–2018 гг.

Краснодар – Новокузнецк – Звенигород

СТАРШИЙ ГОРНОВОЙ, «СЫН БОЯРСКИЙ»

*Олегу Харламову и его сыновьям
Алёше и Косте*

1

Стояла глухая августовская жара, и мы лежали на приазовском песке, не отрывая взгляда от ребятишек: плескались на мелководье – не выгонишь. Сыновья Харламовых Костя с Алёшей и наш внук Гаврюшка, их шестилетний сверстник.

Они-то с Харламовыми нас на берегу и свели, и мы с женой, новокузнецкие бывшие, о чём только не спрашивали нынешних – настоящих.

В ту пору я вернулся в Сибирь: стать на Запсибе под красное знамя Кустова. Ещё незнакомому, он мне тогда сказал по межгороду: «Какие там, слушай, в Москве казаки?.. Какие атаманы?! Ты просто забыл, что все они – здесь!»

Но атаманское дело не отпускало, видать, и тут, даже во время отдыха...

Глядя на Олега, облепленного высохшими песчинками, сказал, обращаясь больше к двум нашим дамам, нежели к нему самому:

– Эх, как на этой пролетарской груди богатыря... смотрелся бы православный крест!

Олег ладошкой смахнул остатки песка, нагнул голову, словно отыскивая глазами что-то невидимое, и в голосе у него послышалось сожаление:

– Всё, окончательно пропал, нету...

– В море? – спросил его. – Потерял?

Как дружно они с женой прыснули! Даже сами застеснялись.

Олег повёл головой на красавицу-жену, взялся рассказывать:

– Люба мне подарила... большой! Из чистого серебра. Красивый! Хотя рубаху не надевай... Чтоб все любовались. А потом на печке у нас что-то не заладилось, пришлось над канавкой долго стоять. Нагнувшись. А чугун ещё шёл. Он вывалился, на цепочке повис. Крест мой. Над самым жаром... Я потом рывком выпрямился, он обратно на грудь. Заорал так, что сам от себя не ожидал. Думал, кусок шлака закинул. Ребята подбежали: «Что с тобой, старшой?!» А там такая отметина! Как раз крест – один к одному. На теле... Я Любе говорю: «Чего теперь буду носить твой серебряный? Пусть дома лежит. На память. А на работу с этим»...

И снова нагнул голову:

– Выходит, совсем недавно сошло. И не заметил...

– Что меньше его любимой лопаты, вообще не замечает, – съязвила Люба. – Медведь, он и есть медведь. Недаром же их на комбинате «медведями» зовут. Горновых...

Красавица – это не для комплимента. Впрямь была ослепительна. И в нарочито пренебрежительном её тоне сквозила даже не гордость – открытая любовь счастливой молодой женщины.

2

Не знаю, подумал ли об этом тогда, в девяносто четвёртом, когда мы подружились с Харламовыми. Со всеми. Или уже потом, когда в который раз брался за ручку или садился за компьютер, чтобы о старшем горновом да о его удивительном дружном семействе.

В Новокузнецке не раз бывал у Харламовых дома, и оба уже подросшие мальчишки проводили меня потом до остановки автобуса на Антоновскую площадку. А раненько утром я спешил потом из гостиницы, чтобы подсесть уже в другой автобус, «рабочий»: вёз на комбинат первую смену, в том числе Олега с его бригадой.

«Тереть уши» начинали мне ещё по дороге: о чём только не рассказывали.

«Красная империя» записного романтика Бориса Александровича Кустова, не пожелавшего лететь на поклон к высокопоставленному тёзке, въехавшему в Кремль на горбу новокузнецких шахтёриков, уже рухнула: в стране торжествовала «семибанкирщина».

У горновых с первой печки тоже появились «зелёные». Свои. Болотного цвета чеки, отпечатанные в местной типографии на газетной, самой скверной, бумаге.

Обижались, если в обед я отказывался от угощения в заводской столовой. А разговор при этом шёл – любо-дорого!

– Ты что, Леонтич?.. У нашего Эдика, у горнового, теперь несколько «комков» этих, магазинчиков, а и то уплетал тут с нами, за ушами трещало!

– Опять приезжал?

– Ну!.. Деньги привозил. Для бригады. До конца месяца продержаться.

– Скушает один, он артельщик!.. Хоть в столовке, грит, с вами посижу – и то радость!

– Будет тебе радость, когда обратно к печке вернётся! В последний раз так и сказал: «Душа не выдерживает – вернусь!»

– А вы что?

– Да что?.. Только попробуй! Ишь, трудно ему! Бабки грести лопатой... Я, грит, так не при- вык. Мне ломить надо...

– А начальник смены ему: «Не научился бо- роться с трудностями, когда ходил в комсо- мольцах, сейчас учись. Учиться никогда не поздно!»

– Во-во!.. Нет, грит, таких крепостей, чтоб их не взяли большевики! А тут – какой-то «комок»!

Так вот, какая там тебе жара! В августе на Азовском море...

По сравнению с той, на литейном дворе, у Первой печки. Уважительно названной нашими «старичками» из ветеранов-первостроителей: Домна Записибовна. Общая наша тётка, а то ка- кая другая командирша либо наставница, вот уже столько лет греющая столько из нас даже на большом-пребольшом от неё расстоянии. В дальних чужих краях...

Для неё и это возможно! Душу согреть.

Недаром же домна в переводе с латинско- го – госпожа.

И стала госпожою не нынче, когда «из грязи да в князи» – дело почти обычное.

Она-то, ребята, – от рождения. С июля тыся- ча девятьсот шестьдесят четвёртого года.

«Госпожа».

И вот мы ушли потом от неё. Кто далеко, кто поближе. Многие кто куда разъехались... А сколько уже перебрались в иной мир! Считает- ся, более счастливый.

Он же всё тут и тут – в огне, в дыму, в копоти. Да ещё, как тогда велось, месяцами без зарпла- ты. Старший горновой Харламов Олег. «Мед- ведь с лопатой». Как называла его тогда Люба. В счастливые августовские дни на Азовском море.

А для меня он давно стал не только другом, но сделался человеком, воедино связавшим и времена, и поколения. Подумаешь иной раз: «Да это просто подарок судьбы». Давнее, дорогое сердцу знакомство, которое когда-то устроили нам по краю моря бегающие наши ребяташки. Два его сына и мой внук...

3

Оба мы хоккейные болельщики, и раньше я над ним, бывало, пошучивал: «А не родня ли знаменитому нападающему?» Харламову Ва- лерию. Наполовину испанцу...

Но тут стала приближаться дорогая для вся- кого кузнечанина дата: 400-летие города. Заго-

ворили о казаках, первыми ступившими на бе- рег Томи недалеко от того места, где выросла потом Кузнецкая крепость. Четвёркой перво- проходцев верховодил тогда Евстафий Харла- мов, «сын боярский». Немудрено, что моё, по- читающего себя «сыном Кузни», внимание, сно- ва переключилось на казаков. Позвонил по мобильнику Олегу: покопайся, мол, в своей ро- дословной... Мало ли?..

Не отзванивал он долгонько, и всё это вре- мя в сознании моём складывались фантастиче- ские картины, пусть бесконечно дальнего, род- ства сегодняшнего старшего горнового с Пер- вой «печки» Записиба Олега Харламова, давно, конечно, Олега Викторовича, с его пращуром – казачьим верховодом Евстафием Харламовым, «сыном боярским»... А что, что?

Так вышло, что на литейный двор Первой печки однажды мы пришли вместе с Алексан- дром Никитичем Лавриком, в ту пору – директо- ром Записиба по производству. Может быть, он тоже ощутил атмосферу особого артельного братства, которая царила в бригаде Харламо- ва?.. Сказал мне что-то такое: «Отвёл душу. Когда соберётесь к своим друзьям-горновым в следующий свой приезд – дайте знать. Пойдём вместе».

28

Сколько лет с тех пор пролетело! На Запси- бе Лаврик успел побывать в должности очеред- ного «генерала», а нынче давно уже – сенатор, представитель Кемеровской области в Совете Федерации. Но и в этой роли уже не однажды участвовал в наших совместных, можно теперь считать, традиционных походах к заводским «медведям» с Первой печки.

Греет, видать, не только огнедышащая стальная махина – греет живое человеческое тепло.

Потому и поделился с Александром Никити- чем надеждами на возможное родство двух разъединённых во времени Харламовых. Обыч- но деликатный, чрезвычайно сдержанный Лав- рик на этот раз как мальчишка воскликнул: «Эт- то было бы ...!»

И правда – разве не так?

Кто только за эти четыре века не раскачи- вал наши тысячелетние народные корни! Кто только нас не разделял и не разлучал, кто не дробил наше и русское, и великое российское родство: чуть ли не так же, как в стальных «ба- рабанах» горноочистительных фабрик дробят руду...

Но там, после сталеплавильных печей металлургического завода, «на выходе», как говорится, рождается сталь... Что останется после нас? Точней – кто останется?

Видения мои, подогретые старой сибирской ностальгией, были настолько явственны, что временами я чувствовал себя несостоявшимся великим пиарщиком... Ну вот же, вот!

Разве это не тот самый чалдонский характер, не та могучесть, которая только Матерью-Землей и даётся? Да не какую-нибудь – сибирской!

Двадцать третьего февраля, в давно чтимый в России «мужской» праздник, стукнет ровно тридцать пять лет, как друг мой пришёл на нашу, на Первую печку. По разным причинам за это время десяток раз сменился состав горновых в его бригаде, а он всё не расстаётся с лопатой и званием «старшего»... Двужильный?

Где оркестр в этот день?! Где большие начальники, отцы комбината, города, области?!

Да это ведь было бы – начало заслуженно-долгих праздников славного 400-летия нашей Кузни: поздравить в этот день безотказного истинного трудягу! «Медведя» с его лопатой.

Будь моя воля, снял бы документальный фильм. Вот они, четверо казаков во главе с Евстафием Харламовым, «сыном боярским», сходят на берег у Топольников... Ну не сразу, конечно же, «сын боярский» прямо-таки опрорхнуть – к нашей Домне Запсибовне. К Первой печке. Конечно, нет!.. Но всё же, всё же!

Разве не ради этого всё четыреста лет назад и затевалось? Мудрыми и рачительными нашими предками. Вместе со всем тем (в фильме-то, в фильме!..), горьким и радостным, что произошло меж этими столь разноликими событиями: и войны, и мир, и былые великие надежды, и всенародный обман, и нынешние наши упования...

Превратятся в реалии?.. Или «опять, как всегда?»

4

Не вытерпел, сам позвонил Олегу...

А может быть, душа чуяла?.. Что надо ему позвонить.

– Вообще-то сейчас не до родословной, Леонтич, – ответил он грустно. – Месяц, как не стало Любы... Что за болячки в нашем городе, знаете... А перед этим мама её скончалась. Мы же в её квартире жили, вы помните. Она – в нашей. Ничего не оформляли... Собирались жить

вечно... Да и некогда за работой, некогда!.. «Останется Алёше», – она говорила. Тёща. Это у Кости семья, живёт отдельно. Алёшка до сих пор с нами... И дача как бы его, мичуринский этот участок, без документов. А там уже ломать начали, разрез почти вплотную подходит. То было всё некогда, а теперь надо срочно оформлять... Вот – стою в очереди к нотариусу...

Почти закричал ему:

– Почему же ты сразу не сообщил?! Что Люба ушла?.. И не говорил, что болеет?

Ответил почти виновато:

– Получалось так, что всякий раз, как звонили, был на смене, у печки... Там много не скажешь. Да и ребятам в бригаде своих проблем хватает, не хотелось настроение портить... Всё держимся!.. Только сказал бы вот мне, Леонтич! А для чего мы так? Для чего?!

5

Я на четверть века старше моего друга Олега Викторовича Харламова. Без нескольких дней – ровно на четверть века.

Временами мне тоже очень сложно ответить себе на этот прямой вопрос: «А для чего?».

Я и раньше очень часто вспоминал эту почти идиллическую сцену: он с Любой своей на приазовском песочке. И мы с Ларисой...

На мелководье, на берег не вытащишь, плещут друг на дружку ладошками радужную морскую воду их Костя с Алёшей и наш маленький Гавриил.

А молодой богатырь, старший горновой с Первой печки, рассказывает историю своего серебряного крестика, который подарила ему жена, красавица Люба...

Этот его рассказ я и раньше частенько вспоминал.

Теперь же, когда он там, словно подранок, мается, – и вообще чуть не каждый день вспоминаю.

И все думаю: надел ли он опять этот свой большой серебряный крестик? «Красивый-ый!» Что когда-то, уже очень давно, подарила ему заботница Люба?

Может, чувствовала, что настанет потом такой чёрный день, когда только подарок её и рассеет мрак в душе её «медведя с лопатой»?

А тётка Домна поняла это первая и строго-настроено повелела поберечь серебряный крест...

Как знать!

СТАЛЬНЫЕ ГОРОДА, или ПУТЬ БЛАГОРОДНОГО САПОЖНИКА

К 90-летию старшего друга

1

В Новокузнецке, который тогда ещё звался Сталинском, эту историю знал наверняка почти каждый...

Как зимой тысяча девятьсот тридцатого года в город приехал нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе: взглянуть на строительство Кузнецкого комбината. Как пригласил в свой правительственный вагон ударников, и они отказались есть лежавшие в большой вазе яблоки, а попросили разрешения по одному взять домой: для детишек, которые никогда яблок не видели. И как после, ранней весной, в город прибыл товарный вагон, набитый саженцами: откуда начался знаменитый Садопарк, откуда эти кривоватые, покрытые графитом и угольной пылью старые яблони, которые ещё не так давно упрямо зацвели на окраинах...

Ранней осенью пятьдесят девятого года они настырно держались ещё в центре Сталинска, и с только что обрётённым другом Геннадием Емельяновым, окончившим журфак МГУ пятью годами раньше, мы на ходу срывали «наркомовские» яблоки, чтобы заесть грузинское «Саперави» — обилием своим оно тогда затопило город.

Коренной сибиряк, чалдон Гена просвещал меня, залётку-кубанца:

— Это действительно стальной город, старик!.. От этого никуда не деться. Металлургия здесь — альфа и омега. Всё остальное потом. Есть, правда, интересный народишко... Одного с тобой только что в магазине встретили, его пропускают всегда без очереди... Володя Манеев... Маней — наша крепость и сила. Недаром — олимпийский чемпион. По классической борьбе... «классик»! А сейчас идём к человечку, которого можно считать интеллектом Сталинска. Увидишь, старик: думный мужичок!.. Уже книжонку издал — «Достоевский в Сибири». Любопытная, скажу я тебе, книженция!

Под глазом «думного мужичка» сиял приличный, цвета «Саперави», фингал, и, когда уселись у него дома за столом, Геннадий Арсентьевич, Геннаша, счёл нужным объяснить:

— Наш олимпиец, старик!.. Маней. С Колей и с ним были три дня назад на природе, у него «победа» своя. Говорю ему: «Ты, «классик», не за-

знавайся, не то живо поставим тебя на место! Думаешь, не сломаем тебя вдвоём с Кандидатом?..» Это Колина подпольная кличка, старик, Кандидат. Но олимпиец кинулся первым... Ну, давайте за то, что нас теперь трое. Втроём мы его...

Так и хочется вспомнить название фильма, который потом, ещё через три десятка лет, снимет известный украинский режиссёр Михаил Беликов, начинавший с цветного детского кино по моему рассказу «Красный петух плимутрок», «Как молоды мы были»!..

Но теперь, уже с высоты нынешнего своего возраста, видишь: тем важнее в то золотое время встретить человека и старше тебя годами, и хоть слегка опытней...

«Думного мужичка».

Как определил это наш общий с Николаем Ивановичем Якушиным старый друг, писатель Геннадий Емельянов: светлая тебе память, наш сибирский собрат!

— Ты расскажи, Кандидат! — кипятился тогда у Якушина за столом. — Ты расскажи этому тёмному кубанцу, как в пятьдесят шестом оказался в Москве на торжественном вечере Достоевского, сколько привёз оттуда снимков... И как выставку в пединституте устроил. Зине Кузьминой, секретарю горкома по идеологии, доложили, она примчалась, и — что ты думаешь?.. Распропагандировал её так, что ушла, благодарная, чуть не со слезами на глазах... Ну так было, Кандидат?

Светлая память и многолетней спасительнице нашей Зинаиде Васильевне, разве чёрствое сердце на проникновенную речь отозвалось бы?

2

Мы друг дружке симпатизировали и на каких-нибудь городских мероприятиях либо в больших компаниях часто садились рядом. Теперь понимаю: у Кандидата, который в годы войны мальчишкой пошёл в Москву работать на оборонный завод и год за годом уже сам потом школил и воспитывал младших, наставничество стало второй натурой.

Тогда он любил это нам рассказывать, как Достоевский, остановившийся в доме своей невесты Исаевой, не выдержал постоянного стука за бревенчатой стенкой и отправился к соседу-сапожнику: «Можешь, братец, денька три-четыре побездельничать?.. Возможный убыток обещаю тебе восполнить». «Нет, — ответил сапожник. — Не могу. Я слишком люблю свою ра-

боту и у меня много заказов, которые я должен в срок выполнить. А дармовые деньги мне не нужны...»

Любопытное дело! Только сейчас, вспоминая давние годы в Новокузнецке, в который тогда все мы «за одну ночь переехали из Сталинска», начинаю вдруг понимать, откуда в том числе моё уважительное отношение к мастерам «обувного дела». Одна из глав моего романа «Проникающее ранение» станет называться «Крепкие башмаки», и центральный герой её – пожилой инвалид-сапожник, по-свойски – Митя, который умудрялся чинить нам ну уже совершенно непригодные, казалось, ботинки и туфли. Стройка была громадная, транспорта в нашей редакции, с гремящим названием «Металлургстрой», не имелось, и обувь на нас горела огнём...

А тогда Кандидат однажды сказал мне: «Понимаешь, Гарюша!.. Навряд ли кому-то из нас удастся повторить литературный подвиг Фёдора Михайловича... Но кто нам запретит идти путём благородного сапожника?.. Который искренне любит свою работу и не может даже на денёк её бросить, столько у него заказов от уважаемых граждан... его современников, если хочешь. Его соотечественников!»

3

Теперь, по прошествии стольких лет, ясно, что сам он этому завету следовал неукоснительно. И впервые я осознал это уже в другом стальном городе. В Череповце.

Якушин переехал туда сразу из нашего Новокузнецка, а я попал на «Северсталь» только спустя много лет, когда уже работал в Москве в издательстве «Советский писатель» и остро скучал не только по Сибири – вообще по «живому делу», как мы тогда это называли. Должность заведующего самой крупной редакцией «русской советской прозы» и секретарство в Московской писательской организации позволили не только придумать, но и вместе с единомышленниками, тоже томившимися в столице прозаиками-проvincиалами, осуществить полумифическое, казалось вначале, шефство над строителями череповецкой «Северянки»: крупнейшей в мире домны-пятитысячницы.

Третьим в нашей творческо-производственной связке был журнал «Наш современник». Перед очередной поездкой к нашим подшефным я позвонил Кандидату:

– Коля!.. Ну привет от тебя Сергею Васильевичу Викулову, с которым ты там как раз и сошёлся, я непременно передам. В память о Новокузнецке – знай наших! – непременно на литературном городском вечере. Само собой – добрые слова череповецким коллегам. Твоим ученикам и твоим читателям. Ещё кому?

– Зайди в городскую библиотеку, – сказал он. – Поблаговари девчат, которые столько лет поддерживают со мной связь. Картотеку посмотри. Подойди к моим книжечкам. Приголубь-приласкай. Передай, что очень хочу вырваться из Москвы – навестить...

Вот в библиотеке-то я и прозрел. И, признаться, уже не рад был, что легкомысленно согласился пойти туда.

Конечно же, всё было в идеальном порядке, но сколько понадобилось времени, чтобы с обширным научно-литературным хозяйством Николая Ивановича Якушина хотя бы поверхностно ознакомиться!

Не стану перечислять, но из любовно собранной библиографии хорошо было видно, о скольких русских классиках успел издать книги. И сколько «на заказ», как говорится, поработал: очерки в литературных и научных журналах. Статьи о современных писателях. Предисловия к книгам. Критика.

И главное, что тогда вызвало прямо-таки приступ сибирской ностальгии, – многочисленные фамилии общих наших знакомых из Новокузнецка, Кемерово, Новосибирска: Виталий Рехлов, Александр Волошин, Евгений Буравлёв, Александр Смердов, Николай Яновский... Его товарищи. Мои бывшие наставники...

Вернувшись в Москву, выбрал свободную минуту. Присел у телефона и, как старый новокузнецкий «покупщик», носовым платком прикрыл голову микрофона, глухо забубнил:

– Это обувной мастер Якушин?

Он сперва не понял:

– Что-что?.. Вы куда...

Расхохотался. И вдохновился:

– Значит, ты это помнишь, Гарюша?.. Сапожника за стеной у Фёдора Михайловича. Это завет нам всем... А то я тут недавно письмо от Геннаши получил: снова жалуется на свой «стальной город»... Конечно, стальным городам мы не нужны, они пытаются нас отторгнуть. И в то же время мы им необходимы как воздух. Как без нас?! Иначе там окончательно возьмёт власть «сила партийного слова»... Это ты тоже помнишь?

Такое не забывается.

Не исключено – самая яркая страница «Кузнецкого рабочего»... Или он тогда ещё назывался «Сталинская смена»?.. Может, уже – «Большевицкая сталь»?

Теперь-то попробуй в точности выяснить, если в Интернете для начала тебе покажут пятнадцать женских попок, в трусиках и без них, и двадцать пять бюстов.

Терпения не хватит сквозь этот плотоядный ряд пробираться!

А тогда...

Тогда жил да был в Сталинске русский, богатыйской внешности журналюга-удачник Петюня Скороподхватов. Не расставался с фотокамерой. А перо было, а перо-о!..

Такая фамилия и такой характерец, как у него, да в наше бы время равных возможностей!

Но мы сидели за вёслами в иную пору.

Нас было много на челне...

Помните?..

Так вот, перед очередным съездом КПСС Петюне надо было срочно взять интервью у передового сталевара, и в парткоме КМК – знаменитого Кузнецкого металлургического комбината, чья калёная в сибирском поте броня в годы войны оказалась прочней хвалёной крупповской – так вот, в парткоме дали Петюне не очень, надо сказать, толкового провожатого. В дыму да огне возле мартена показал пальцем на одного из работников и был таков.

Но Петюня за свой журналистский век в какие только переделки не попадал!.. Сделал для начала несколько снимков, не отвлекая работягу от дела, жестами потом кому-то велел его подменить и снял крупный план: с улыбкой от уха и до уха. С этой целью он давно уже научился растопыренными пальцами, указательным да большим, особым образом надавливать скулы своих будущих героев, после чего они ещё долго не могли сомкнуть челюсти и скрыть откровенно-дурацкую улыбку.

Но в тот раз ему показалось: перестарался.

Несчастный передовик не смог заговорить до конца смены, и Петюне так надоело ждать с ним беседы, что в мойке он уже молча вытащил у него из кармана пиджака пропуск, переписал фамилию-имя-отчество и сунул обратно. Остальное, он считал, дело опыта и – политического момента...

Уж чего только не рассказал ему, как было в газетной статейке под большой фотографией, передовой сталевар! Чего только не пообещал четырежды орденосному комбинату и товарищам по работе перед очередным съездом родной коммунистической партии!

А наутро в редакцию «Сталинской смены», или как она тогда называлась, в кабинет Петюни без стука вошли двое с мрачными лицами. Человечек с фотографии, теперь – с каменными чертами, молча сжимал в руках только что вышедший из печати номер газеты.

Указав на него пальцем, второй сказал:

– Он с детства немой, я родственник. Я буду за него говорить...

И тут вдруг немого передовика будто прорвало. Выдал такой замысловатый и громкий мат, какой даже в Сталинске-Новокузнецке редко кто слышал.

Оторопело прокричал его и вдруг зарыдал...

Пришедший с ним родственник вдруг тоже залился слезами и бросился передовика обнимать.

Всегда державший нос по ветру Петюня в один момент всё сообразил. Сграбастал обоих и тоже захлопал то на плече у одного, то у другого...

Тут же они отправились в ресторан «Москва» и едва успели выпить втроём, как к ним присоединилась чуть ли не вся остальная редакция, а также бригада сталеваров в полном составе: всем дружным коллективом ждали неподалёку, чтобы броситься на подмогу, когда Петюне начнут бить морду...

Сначала пили за исцеление передовика-сталевара, молчавшего от рождения дольше, чем Илья Муромец просидел на печи... Потом – за фотокорреспондента, за журналиста... за газетного писателя, который невольно заставил молчуна заговорить... Да почему, собственно, невольно?!

Кто это смеет утверждать?.. У кого поворачивается язык так говорить?!

Легенда «Кузнецкого рабочего» Михаил Семёныч Теплицкий, Миша, старый (в одном лагере с моим родным дядей Георгием Мироновичем Лизогубовым) колымский сиделец, бывший свидетелем этой неожиданной смывки рабочего класса и творческой интеллигенции, рассказывал потом в лицах, как поднялся с рюмкой в руке главный редактор осчастливленного неожиданным происшествием издания.

– Сегодня мы с вами, товарищи, – проникновенно заговорил, – стали свидетелями бесспорного торжества партийной советской печати...

Но мало, мало того!

Они потом, сукины коты, как моя прабабушка Татьяна Алексеевна в станице говаривала, они потом дали в газете отчёт: «Сила партийного слова: ещё один голос – за!».

Как такое забыть?!

5

Третьим «стальным городом», который невольно вернул меня в общее наше с Николаем Ивановичем прошлое, был Ижевск.

В девяносто шестом, на самом пике лихих девяностых, несколько месяцев мне довелось прожить в доме знаменитого оружейника Калашникова. В роли «литературного записчика» помогал Михаилу Тимофеевичу в работе над его книгой воспоминаний «От чужого порога до Спасских ворот».

Теперь, уже из дня нынешнего, с печальной улыбкой вижу, что квартира Конструктора представляла тогда некий несдавшийся духовный оплот, который защищал, пожалуй, самое главное: связь времён.

Мы были с ним жаворонки, оба вставали в пять утра, и в первый же день гостеванья, когда в отведённой мне комнате ещё сидел на краю постели, услышал его характерный, чуть прерывающийся голосок, громко и будто с каким-то вызовом декламировавший некрасовского «Школьника»:

Ну, пошёл же, ради Бога!

Небо, ельник и песок –

Невесёлая дорога...

Эй! садись ко мне, дружок!

Умилился, конечно. Скорей всего, решил – своего рода подзарядка. Кричал же Александр Васильевич на заре петухом?.. Суворов, Суворов.

На следующее утро до меня донёсся другой некрасовский стих, теперь уж не помню точно какой, и за чаем я сказал Конструктору (ему нравилось, когда его так называли): понял, мол, что вы любите Некрасова.

Он ответил чуть ли не с осуждением:

– А как его можно не любить?! Или вы как раз – нет?

То были дни, когда мы перед общей работой как бы притирались друг к дружке, и я ответил

с искренней радостью: «Да что вы, Михаил Тимофеич, что вы!».

Пошутить он любил:

– Значит, согласны и дальше слушать... мой заржавевший голос?

Каких только стихов Николая Алексеевича я тогда в гостеприимном доме Конструктора не переслушал!.. Улыбался про себя: мол, повторение пройденного?

Но так оно, в общем, и оказалось.

Через несколько дней спросил его: «Это вы ещё со школьных времен всё помните?.. Или потом пришлось заучивать?..»

Теперь он разудался: мол, специально никогда не заучивал. А помнит даже не со школьных – ещё с дошкольных времён. Мать с отцом родили девятнадцать детей, и он был чуть ли не самым младшим. Сперва «зимой возле печки» пришлось слушать, как стихи зубрит старшая сестра, потом следующая за ней, потом – брат... Прежде чем пойти в первый класс, уже знал наизусть чуть ли не все стихи из школьных учебников, а на Некрасова в них тогда места не жалели... Сперва «Генерал Топтыгин», а потом уже и «Парадный подъезд», и «Рыцарь на час»...

Чуть ли не всё это я тогда с большим удовольствием прослушал: ведь не кто-либо «расказывал стихи» – сам Калашников!

После, когда достиг возраста Конструктора, задним числом понял, что это было ещё и необходимым «воспитанием памяти»: в этом смысле на какие только придумки не был Михаил Тимофеевич горазд.

А тогда, дома у него, посреди очередного разговора я вдруг вспомнил о своём старом товарище... О Кандидате. И чуть ли не прихвастнул: мало того, что одним из первых стал заниматься Достоевским. У него, мол, вышли книжки о Пушкине и о Тургеневе, но чуть ли не главная его книга – о Некрасове. О вашем любимце! Он как раз специалист по Некрасову...

А Калашников вдруг помрачнел, в подрагающем его голосе послышалось недовольство. Произнёс на одной и той же ноте:

– Кто живёт без печали и гнева... Пусть тогда этот ваш большой специалист нам объяснит... почему великого русского поэта Некрасова нынче – как нету и не было?.. Куда делся?!

– Ну это вопрос не к нему, – попробовал я защитит своего старого товарища. – Он как бы по другой части...

33

– Знаю-знаю! – неговорчиво отмахнулся конструктор. – Но кто-то же должен, наконец, объяснить?.. Хотелось бы получить ясный ответ...

Уже слегка остыл, попробовал всё свести к шутке:

– Вам задание: вернётесь в Москву, всё-таки спросите у своего друга... Он у вас профессор?.. Так вот, пусть даст научное объяснение...

Я подхватился, обернувшись к его телефону, с «громким боем» аппарату:

– Можем прямо сейчас ему позвонить!

– Сейчас нам некогда, – сказал он категорически, – мы с вами должны успеть к выставке оружия в Абу-Даби, у нас мало времени!

Что-что, а время он ценил, как никто...

6

Якушину я позвонил в Москве. Прежде приветствия начал:

– Кандидат!.. Кто живёт без печали и гнева...

Он понятливо спросил:

– Что случилось, Гарюша?

Передал ему привет от Михаила Тимофеевича и рассказал о его поручении: получить научное объяснение в отношении «революционного демократа» Н. А. Некрасова... Демокра-а-ата!..

– Ты где там спал у Калашникова? – спросил он в обычной своей манере. – Надеюсь, не на полу?.. Во всяком случае, чувствуется, что от нашей новокузнецкой кровати ты надолго отлучался... Вы-то с Ларисой её ещё не выбросили?..

– Коля! – осудил его тоном. – Как ты можешь так о нас думать?.. Или не осознаём исторической её ценности! Вообще для нас это не кровать. Колыбель!.. Особенно, само собой, для меня!

И он удовлетворённо протянул:

– Во-от! В своё время для меня она тоже была творческой колыбелью, если хочешь, тут ты правильно...

Эта его кровать!

Рассказывал, что принадлежала ещё какому-то богатому инженеру из иностранных спецов, участников легендарного Кузнецкстроя. Попала к тому поди из разорённого дворянского либо купеческого дома: разные по высоте широкие спинки, покрытые прочным шпоном благородного тёмно-орехового цвета. Такие массивные, что казалось, будто сделаны из цельного дерева... Прочные даже на вид боковины, готовые принять любую нагрузку. Не кровать – надёжный ковчег, в котором удобно и безопасно плыть по беспокойной реке жизни...

Коля приобрел её у какого-то большого начальника, жившего в «сталинских домах» по проспекту Metallургов и отъезжавшего в Москву. Там он должен был вселиться в государственную, с казённой обстановкой квартиру.

Когда сам собрался в Череповец, предложил её мне:

– Дорого не возьму, Гарюша. Учитывая твой статус молодого специалиста, который в наших местах может продлиться не один и не два года... Плюс ещё одна немаловажная вещь: и мою жену звать Лариса, и твою так же. Своего рода солидарность. После того как побывал с Геннашей у вас в гостях и рассказал своей Ларисе, на чём вы там спите...

О, эти стальные города, в самом деле!..

В середине июля пятьдесят девятого, будто нарочно к своему дню рождения, получил в палаточном, уже успевшем опустеть и отданном под склад городке пять жизненно необходимых предметов: небольшой круглый стол, табуретку, односпальную, похожую на раскладушку металлическую койку и цинковое ведро с электрочайником...

Теперь, когда всё настойчивей размышляешь о самоограничении и довольствовании малым, которого так не хватает утонувшему в «потреблятельстве» нашему миру, нет-нет и припомнишь свою «сибирскую ударную»: золотая пора!..

Потом, когда поженились, пришлось на первых порах прибегнуть к общепринятому тогда на нашей Антоновской площадке варианту: двенадцать деревянных ящиков из-под водки, составленных, как в детском «конструкторе» – три на четыре: три подряд ящика в ширину и четыре в длину... Чем тебе не брачное ложе?

Из-под водки – было условием неизменным, она была, что там ни говори, плотно закупорена. Остальные ящики сильно припахивали – какой селёдкой, а какой – колбасой и заставляли работать воображение... Зачем нам гастрономические сны при спартанском образе жизни?!

Как хорошо, что Кандидату, когда посетил наш «передний край», проходивший как раз на линии Антоновской площадки, как уважаемому гостю выпало сидеть якобы на мягкой нашей «кровать»: невольно ощутил пятернями и прочие её бытовые возможности. Для приземленных надобностей. И – для возвышенных...

И перед его отъездом в славный город Череповец мы с ним ударили по рукам...

Конечно же, при дальнейших, где бы то ни было, встречах Кандидат вспоминал: как там его новокузнецкая кровать?..

Потом однажды сказал: мол, мы об этом не говорили, но, кроме бытовых свойств, наша обшая любимица обладает ещё и волшебными... В ней хорошо, хоть не всегда и уютно, думается. И перед сном. Когда итужишь прожитый день и за-даёшь себе программу на завтра. И ранним утречком, когда полон ещё не растраченных сил и уверен, что возможности твои безграничны... Мне теперь кажется, что в молодости она помо-гала отвечать на многие, в том числе самые трудные, вопросы... «Ты этим пользуйся, не за-бывай. Спрашивай, Гарюша, её. Спрашивай!»

У нас с Николаем Ивановичем даже термин потом такой появился: спросить у кровати.

7

– Ну понял, понял! – сказал ему тогда, после приезда из Ижевска. – К нашей кровати это не относится, о ней так – грех... Но сегодня и в са-мом деле любое дерево... любой дуб может знать больше каждого из нас... Понял, что ты мне предлагаешь.

Он там вздохнул:

– А скажи мне. Это тоже твой... Конструк-тор... Цитировал?.. «Рубль для новейших господ выше стыда и закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона...»

– Это уж точно цитировал, не один раз.

– А это?.. «Я вор, я рыцарь всех времён, на-родов, наций...»

– Вот этого не помню.

– А это ключ, – сказал он. – Некрасов – поэт всех времён... Остальное тебе – наша кровать.

Что там и осталось-то ей после всего этого мне досказывать?..

Старинной, долго пожившей на белом свете и всякого повидавшей деревянной кровати...

8

Во времена нашей молодости была в Ново-кузнецке на слуху такая байка.

По бурной горной реке с трудом плывёт лод-ка, в которой гребёт сидевшая в корме с веслом шорка. Шорец, кузнецкий татарин, сидит себе с носу, курит трубку... Когда лодке удаётся, нако-нец, пристать к берегу, шорца спрашивают: ты что, мол, не мог жене помочь?!

Он спокойно отвечает:

– Сачем?.. У неё своя работа. У меня своя. Самая трудная!

– И что ты делаешь? – его спрашивают.

Отвечает:

– А думаю, как жить дальше!

Вот и я нынче. Когда предстоит «самая труд-ная работа», стараюсь пораньше вечером лечь в постель.

В смиренно претерпевшую все наши переез-ды из Сибири на Северный Кавказ, в Майкоп да Краснодар, а потом в Москву и в Подмосковье, наконец. Под Звенигород.

В общую с Николаем Ивановичем Якушиным творческую колыбель – «кровать Кандидата»...